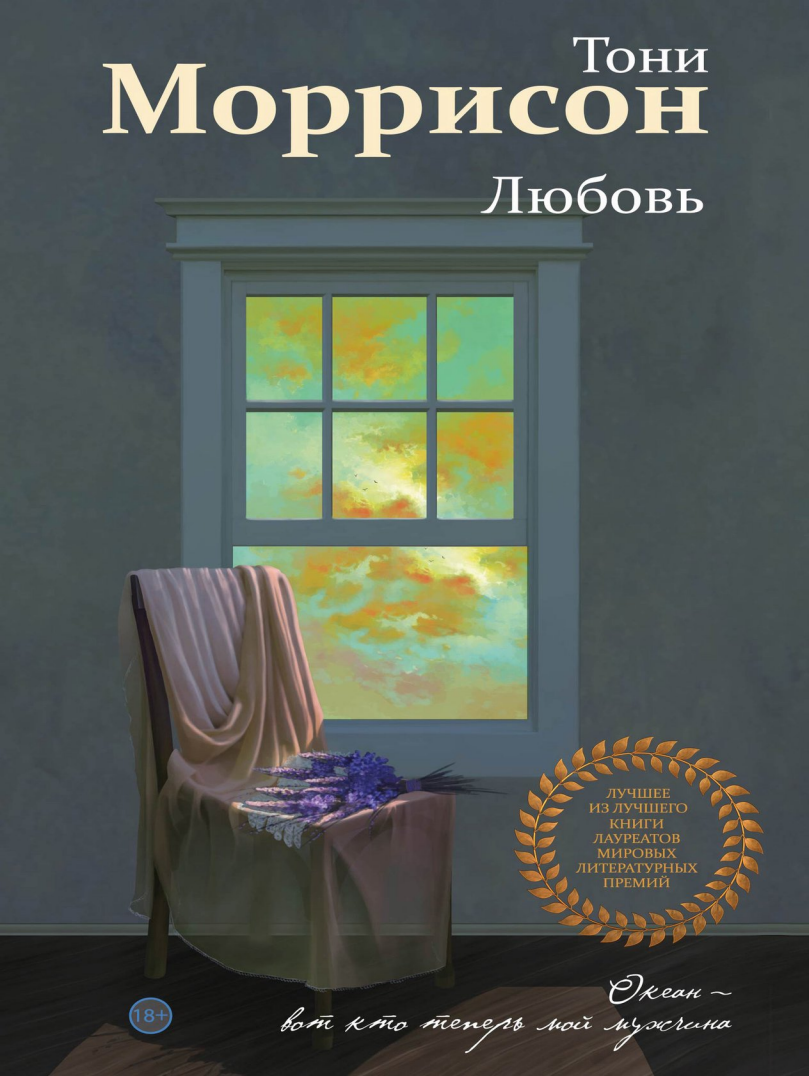
Тони

Моррисон

Любовь



ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

18+

Океан — вот кто теперь мой мужчина

Любовь
Тони Моррисон

Аннотация
Тони Моррисон. Любовь
1. Портрет
2. Друг
3. Незнакомка
4. Благодетель
5. Любовница
6. Муж
7. Страж
8. Отец
9. Фантом

Аннотация

Билл Коузи, бизнесмен и общественный деятель, сумел сделать невозможное – даже после смерти он продолжает влиять на судьбы близких людей. Отец, муж, любовник – он успел примерить на себя разные образы. Некоторые ему очень шли, а в некоторых Билл был настоящим чудовищем. Но книга эта не о нем, а о женщинах, окружавших его, и о чувствах, которые он у них вызвал. У каждой из героинь будет шанс рассказать свою историю, полную приятных и не очень воспоминаний. А нам останется лишь выслушать их и решить: чего было больше в их жизни – любви или ненависти.

Тони Моррисон
Любовь

Toni Morrison
Love

© Toni Morrison, 2003
© Алякринский О., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Женщины раздвигают ноги, а я мурлычу себе под нос. Мужчины раздражаются, но они знают: это же для них! И успокаиваются. Всегда держаться в стороне, ни во что не вмешиваясь, и только наблюдать — это пытка! Но я не говорю ни слова. Я вообще по натуре тихоня. Ребенком меня считали достойной уважения. В молодости называли благоразумной. Много позже во мне обнаружили мудрость, которая приходит в зрелости. В наши дни молчание воспринимается как странность, и большинство моих соплеменниц позабыли красоту многозначительного немногословия. Теперь у всех языки без костей — мелют, не утруждая мозгов. А ведь когда-то я могла поддерживать нормальную беседу и, если возникала нужда, умела привести довольно сильный довод, чтобы пресечь несдержанность чрева — или ножа. Теперь не могу, потому что еще в семидесятых — как принялись женщины оседлывать стулья в бесстыдных позах да танцевать в телевизоре, выставляя срамные места напоказ, а в журналах стали печатать фотографии с голыми задницами да вывернутыми наружу ляжками, словно у женщин это самое главное, — я просто заткнулась. До того как женщины стали раздвигать на публике ноги,

у всех были свои секреты — кто-то их при себе держал, кто-то выбалтывал всем и каждому. А теперь? Нет. И раз сегодня модно выставлять все напоказ, я тихо мурлычу себе под нос. Слова танцуют у меня в голове под мелодию, которую я напеваю. Люди заходят сюда, чтобы заказать тарелку креветок или просто приятно провести время, и даже не замечают, что болтают, не закрывая рта, только они. А я тут как фон — как музыка в кино, которая начинает тихо звучать при первой встрече влюбленных или когда муж бредет в одиночестве по песчаному пляжу и гадает, не заметил ли кто, как он совершил дурной поступок, потому что не смог сдержаться… Мое мурлыканье побуждает людей действовать, принимать важные решения, — вот как, допустим, Милдред Пирс[1] *решает, что ей надо ради дочери отправиться в тюрьму. Подозреваю, что, хоть и тихая, моя мелодия оказывает на людей такое же воздействие. Как звучащее над океаном «Настроение индиго»*[2] *может подействовать*

---

[1] Примечания: 1

Героиня одноименного фильма (1945) в жанре нуар с Джоан Кроуфорд в главной роли. — *Здесь и далее примеч. пер.*

[2] Примечания: 2

Mood Indigo — музыкальная композиция мэтра американского джаза Дюка Эллингтона (1899–1974).

на пловца. Музыка, конечно, не заставит вас нырнуть с головой, но она способна придать уверенность движениям ваших рук или проделать такой фокус, что вы вдруг слепо уверуете в свою силу и удачу. И вот вы уже готовы без оглядки плыть дальше и дальше. И даже не задумываетесь, что под вами — бездна! Она же где-то далеко внизу и никак не может повлиять на ваш дух, расхрабрившийся под звуки кларнетов или рояльных наигрышей... Разумеется, на такую власть над людьми я не претендую. Моего мурлыканья по большей части никто, кроме меня, и не слышит, оно как нельзя кстати подходит старухе, оробевшей перед незнакомым миром, для нее это способ противиться нравам современной жизни. Когда все известно, да ничего непонятно. Может, так оно всегда и было, но меня только лет тридцать тому назад торкнуло, что проститутки, имевшие репутацию честных женщин, у нас всегда задавали стиль. А может, дело не в их честности, а в их успехе. Хотя, бесстыдно оседлав стул или отплясывая полуголыми в телевизоре, женщины девяностых ничем не отличаются от уважаемых дам, живущих тут по соседству. У нас же край особенный: океанское побережье, влажный климат, богобоязненные

жители, где отчаянное безрассудство женщин проявляется в желании надеть короткие шортики или трусики-тонги или попозировать перед фотоаппаратом. Но как и тогда, так и сейчас, будь они в приличном белье или совсем без белья, наши безрассудные женщины не умеют скрывать свою непорочность — эту, так сказать, розовую мечту о прекрасном принце, который скачет к ним издалека на белом коне. В особенности это касается женщин ожесточившихся, с острыми ножами да грязными языками, или гламурных, с дорогущими спорткарами и наркотой в сумочках. Но даже те, кто щеголяет шрамами на лице, точно президентскими медалями, и чулками, спущенными к лодыжкам, не могут изжить в себе ребенка, милую девчушку, притаившуюся глубоко внутри, между ребер, или, лучше сказать, под сердцем. Ясное дело, у каждой наготове есть своя печальная история: слишком много внимания, или недостаток внимания, или что-то того хуже. Есть у них истории о безжалостном папочке, или мужчине с лживым сердцем, или противной матери и подлых и коварных подругах. И в любой такой истории обязательно фигурирует монстр, из-за которого они ожесточились душой, а не окрепли духом, и вот они раздвигают

ноги, вместо того чтобы раскрыть душу, где спрятался свернувшийся клубком ребенок.

Иногда рана настолько глубока, что одной только жалостливой истории недостаточно. И фокус в том, что единственный способ объяснить причину клокочущего безумия, которое стало для них непосильным бременем, заставило ненавидеть друг друга и погубить своих детей, — это придумать постороннюю злую силу. Люди в Ап-Бич, откуда я родом, частенько рассказывали байки о чудищах — их называли у нас Полицеглавами, — мерзких тварях в широкополых шляпах, которые, выпрыгнув из океана, карали дурных женщин и пожирали непослушных детей. Моя мать слыхала про них в детстве, когда у нас обожали рассказывать всякие небылицы. Они на какое-то время пропали и потом снова вернулись — в новеньких шляпах с еще более широкими полями, а было это в сороковые, когда на побережье произошло несколько поучительных происшествий. Жертвой одного несчастья стала местная женщина: однажды ночью она озорничала на пляже с мужем своей соседки, а на следующий день с ней случился удар — прямо во время смены на консервном заводе, она как раз разделывала рыбу ножом. Тогда ей было двадцать

девять. И еще помню случай с другой женщиной — та жила в Силке и ни с кем в Ап-Бич не общалась, — так вот, как-то ночью она зарыла в песок прямо перед земельным участком своего свекра фонарик и свидетельство о собственности, и надо же такому случиться, что той же ночью их откопала выползшая на берег морская черепаха. Бедняга невестка сломала себе запястье, пытаясь спасти от ветра и Клана[3] украденную ею бумагу. Само собой, никто не видал никаких Полицеглавов живьем, и обе те женщины сами виноваты в своем позоре, но я-то точно знала, что эти чудища там шастают, и знала, как они выглядят, потому как уже видала их в 1942 году, когда два малолетних оболтуса заплыли за буйки и утонули. И как только их утянуло на дно, прямо над их вопящей мамашей и обомлевшими от ужаса отдыхающими собрались грозовые тучи и в мгновение ока превратились в профили разинувших рты мужчин в широкополых шляпах. Кто-то тогда услыхал раскаты грома, но я, клянусь вам, услыхала крики радости. С тех пор, на

[3] Примечания: 3

Имеется в виду «третий» Ку-клукс-клан — созданное в 1946 г. общество белых расистов, преследовавших чернокожих активистов и объявивших себя наследниками двух «старых» кланов, которые действовали в южных штатах соответственно в 1860-е и 1920-е гг.

протяжении пятидесятых, они болтались в небе над прибоем или зависали над пляжем, готовые броситься на любого в предзакатный час (ну, знаете, когда похоть распаляется, и морские черепахи роют себе гнезда в песке, а беспечных родителей клонит в сон). Ясное дело, у всех демонов, как и у нас, голод пробуждается в вечернее время. Но Полицеглавам нравилось выходить на охоту и по ночам, особенно когда отель заполнялся постояльцами, пьяными от танцев, музыки и морского воздуха, или соблазненными звездами, искрящимися над океаном. Это было время, когда отель Коузи считался самым знаменитым курортом для цветных на Восточном побережье. Сюда приезжали все: Лил Грин, Фата Хайнс, Ти-Боун Уокер, Джимми Лансфорд, «Дропс оф джой»[4], *и даже гости издалека, из Мичигана и Нью-Йорка, с нетерпением ждали возможности провести здесь летний отпуск. В Сукер-Бей наезжали армейские лейтенанты и мамаши с новорожденными, молодые учителя, домовладельцы, врачи,*

---

[4] Примечания: 4

Лил Грин (1919–1954) — джазовая певица; Эрл Кеннет (Фата) Хайнс (1903–1983) — джазовый пианист; Аарон Тибо (Ти-Боун) Уокер (1910–1975) — блюзовый гитарист; Джеймс Мелвин (Джимми) Лансфорд (1902–1947) — джазовый саксофонист. «Дропс оф джой» — ансамбль, с которым в конце 1940-х и в 1950-е гг. выступал певец и гитарист Томми Лиггинс (1918–1983).

бизнесмены. По всему пляжу можно было видеть, как ребятишки скачут у пап на коленках или закапывают дядек в песок по шейку. Отдыхающие — и мужчины, и женщины — играли в крокет или бейсбол, стараясь запулить мяч подальше в волны. Бабушки приносили красные термосы с белыми ручками и корзинки с крабовым салатом, ветчиной, жареными цыплятами, сдобными пирожками, лимонными кексами, о господи… А потом ни с того ни с сего в 1958 году, утром спозаранку, налетела стая Полицеглавов. В тот самый день, как раз перед завтраком утонули кларнетист и его молодая жена. К берегу прибило надутую автомобильную камеру, на которой они плавали, а к камере прилипли клочки бороды с застрявшей в ней рыбьей чешуей. Поговаривали, будто новобрачная загуляла во время медового месяца, потом эту сплетню долго обсасывали, словом, история была мутная. Хотя понятно одно: возможностей загулять у нее было сколько хочешь. На курорте Коузи симпатичных одиноких мужчин в расчете на один квадратный фут было куда больше, чем в любом месте за пределами Атланты и даже Чикаго. Они приезжали сюда послушать знаменитых музыкантов, ну и, конечно, потанцевать с красивыми женщинами под шум

морского прибоя.

И после того, как утонувшую пару развели — ну, то есть отправили по разным похоронным конторам, — всем стало ясно, что беспутным женщинам и безмозглым детям уже не нужно никакого особого предостережения, потому как все поняли, что спасения нет: быстрее молнии, ночью и днем, Полицеглавы могли выскочить прямо из волн и наказать заблудших женщин или сожрать малолетних шалунов. И только когда курорт пришел в упадок, они вмиг разбежались врассыпную, точно карманники из хлебной очереди. Наверное, немногие из тех, кто до сих пор запускает в безлюдных бухточках донные ловушки для крабов, их еще помнят, но теперь, когда уже давным-давно нет у нас ни биг-бендов, ни новобрачных, приезжающих провести здесь медовый месяц, ни прогулок на яхтах, ни пикников на пляже, ни купальщиков и Сукер-Бей превратился в свалку морского мусора, Ап-Бич же и вовсе затопило[5]*, никому не придет в голову вспоминать про широкополые шляпы и бороды с рыбьей чешуей. С тех пор минуло сорок лет, женщины Коузи спрятались и носа не кажут, и*

---

[5] Примечания: 5

Речь идет о разрушительном урагане «Агнес», обрушившимся в июне 1972 г. юго-восточное побережье США.

мне за них все время как-то боязно.

Ап-Бич ушел на двадцать футов под воду — наводнение пощадило только меня да несколько рыбацких лачуг. Но курортный отель Коузи уцелел. Кое-как, но стоит. Такое впечатление, будто он назад пятится — спасаясь от ураганов и нескончаемых порывов песчаного ветра. Чудно, что океан может сотворить с пустующим зданием на побережье. Прямо на ступенях отеля можно найти неописуемой красоты ракушки — они там валяются точно рассыпанные лепестки или упавшие с бального платья брошки-камеи. Удивительно, как их забросило так далеко от океана. Песок, холмиками скопившийся по углам веранды и между перил, белее и мягче, чем на пляже, словно дважды просеянная мука. Вокруг веранды все заросло наперстянкой, вымахавшей до пояса, а розы, которые никогда не приживались на наших почвах, тут разгулялись вовсю: шипов на них больше, чем на кустах барбариса, а свекольно-красные бутоны не вянут неделями. Дощатая обшивка стен кажется посеребренной, а облупившаяся краска напоминает прожилки на матовом чайном сервизе. На больших двойных дверях висит замок. До сих пор никто еще не выбил стекол из дверных панелей, да и кто бы

на такое решился — ведь стекла зеркальные, и в них отражаются твое лицо и пейзаж у тебя за спиной: огромное поле жесткой травы, окаймляющее слепящий на солнце пляж, и безбрежное, как на киноэкране, небо, и океан, тоскующий без людей. А если заглянуть внутрь, то, несмотря на видимое запустение, чудится, что заброшенный отель припрятал для тебя и экстаз, и компанию лучших друзей. И музыку. Скрип ставня звучит точно всхлип трубы, клавиши рояля издают коротенькую трель, перекрывая шум ветра, так что ты даже и не заметишь боль, пронизывающую холлы и запертые номера.

В наших краях климат мягкий и свет особенный. Бледное утро перетекает в белый полдень, а к трем пополудни краски становятся такими дико-яркими, что невольно испугаешься. Изумрудные и сапфировые волны сшибаются друг с другом, взбивая обильную пену, так что в ней хоть белье стирай. Вечернее небо приобретает такой оттенок, словно оно с другой планеты — где природа не соблюдает никаких правил: где солнце, если пожелает, может стать фиолетовым точно слива, а облака — красными как мак. Наш берег словно засыпан сахаром, о чем, кстати, и подумали испанцы, когда его впервые увидели.

«Сукра», то есть сахар, — так они назвали пляж, а местные белые потом вечно коверкали это слово, вот и повелось называть наше побережье «Сукер».

Никто никогда на здешний климат не жаловался, ну разве что до той поры, пока вонь с консервного завода не добралась до пляжа и не прокралась в отель. И только когда постояльцы столкнулись с тем, с чем жители Ап-Бич уже давно смирились, до них дошло, почему мистер Коузи выстроил для себя большой дом на Монарх-стрит и перевез туда из отеля свою семью. Там запах рыбы не так сильно ощущался. Как болотный смрад или как сортирное амбре, эта рыбная вонь была всего лишь добавочной ноткой в местном букете ароматов. Но в шестидесятые это стало проблемой. Женщины нового поколения были недовольны тем, что вонь проникает в одежду и еду и портит их представления о романтическом отдыхе. В то время все решили, будто духи — единственный запах, для которого предназначен ваш нос. Помню, как Вида пыталась урезонить подружку одного знаменитого певца, которая уверяла, что, дескать, говяжий стейк у нее на вкус как тухлый моллюск. Эта чушь меня оскорбила, потому что на кухне у меня никогда

никаких промахов не случалось. Потом мистер Коузи сокрушался, что это и сгубило его бизнес — мол, белые сыграли с ним злую шутку, позволив скупить всю землю на побережье, потому как из-за близости консервного завода земля перестала приносить прибыль. И именно из-за рыбной вони его курорт, мол, превратился в карикатуру. Но я-то точно знаю: вонь, что висела над Ап-Бич плотным облаком, в Сукер-Бей долетала всего раз или два за месяц — а с декабря по апрель, когда ловушки для крабов пустовали и консервный завод временно закрывался, ее вообще не ощущалось. Нет. Какие бы объяснения он ни приводил, его курорт погорел совсем по другим причинам. Мэй считала, что во всем виновата свобода. После того как ее свекор потерял интерес к отелю, она изо всех сил старалась удержать его на плаву. Она была убеждена, что и их семью, и их бизнес разрушили гражданские права. То есть, по ее мнению, цветных тогда больше увлекали бунты в городах, чем танцы у моря. Она любила рубануть правду-матку, эта Мэй, у нее все началось с полоумных фантазий, а потом вылилось в форменное безумие. Факт тот, что люди, которые в сороковые бахвалились тем, что провели отпуск не где-нибудь, а на курорте у Коузи, в шестиде-

сятые уже похвалялись отдыхом в «Хаяттах» или «Хилтонах», круизами на Багамы или в Очо-Риос[6]*. По правде сказать, ни вонючие ракушки, ни расовая интеграция тут ни при чем. Дело было не в капризной дамочке, у которой стейк якобы отдавал моллюсками, — да наши постояльцы готовы были сидеть хоть рядом с сортиром, лишь бы слушать Уилсона Пикетта или Нелли Латчер*[7]*. И к тому же кто станет обращать внимание на какие-то там посторонние запахи, обняв партнершу на тесной танцплощадке под «Портовые огни»*[8]*. И хотя Мэй винила Мартина Лютера Кинга за все свои невзгоды, отель кое-как зарабатывал, хотя постояльцы в ту пору были уже совсем другого пошиба. Послушайте, что я вам скажу: винить надо других. Кроме того, мистер Коузи был достойный человек. Он помог куда большему числу цветных, чем все государственные программы за сорок лет их действия. И*

---

[6] Примечания: 6

Курортный город на Ямайке.

[7] Примечания: 7

Уилсон Пикетт (1941–2006) — певец в стиле ритм-энд-блюз и соул, звезда эстрады 1950–1960-х гг.; Нелли Латчер (1912–2007) — джазовая и ритм-энд-блюзовая певица, чей пик популярности пришелся на конец 1940-х — начало 1950-х гг.

[8] Примечания: 8

«Портовые огни» (*Harbor Lights*) — написанная в 1937 г. песня, ставшая хитом 1950-х гг.

не он, между прочим, забил досками двери отеля, и не он продал семьдесят пять акров девелоперу из «Иквал опотьюнити», который выстроил на этой земле тридцать два дома до того дешевых, что их стыдно даже сравнивать с моей хибарой. По крайней мере, у меня пол настлан струганными вручную дубовыми досками, а не клееными сосновыми планками, и пускай мои потолочные балки не идеально ровные, но зато они из настоящей древесины, и сушили их сколько надо, прежде чем установить.

Еще до того как Ап-Бич затопило во время урагана «Агнес», у нас разразилась засуха, вот только имени ей никто не придумал. Землю только-только продали и еще даже не успели поделить на участки, а тут хозяйки в Ап-Бич заметили, что из их шлангов потекла жидкая грязь. Пересохшие колодцы и негодная вода так их напугали, что они махнули рукой на свои дома с видом на океан и, мечтая побыстрее куда-нибудь переселиться, обратились в департамент жилищного строительства за двухпроцентной ипотекой. Их больше не устраивала, видите ли, дождевая вода. Бытовые неурядицы, безработица, ураганы, сменившие засуху, болотистые луга, превратившиеся в глинистую пустыню, откуда

даже комары улетели, — я к этому относилась просто: это жизнь! Потом принялись строить государственные дома, и новый жилой массив получил название Оушенсайд — хотя никакого океана там и близко нет. Девелоперы начали продавать жилье ветеранам вьетнамской войны, белым пенсионерам, а когда Оушенсайд облюбовали безработные, живущие на продуктовые талоны, здесь сразу объявилась церковь и ушлые ребята из комитетов активных действий. Кому-то пособия и помогали, пока здешние места не накрыло волной городского обновления. Вот когда рабочие места сразу появились повсюду. Теперь там живут офисные служащие и сотрудники больничных лабораторий, и каждый день ездят оттуда на север, покрывая двадцать две мили в одну сторону. Так и курсируют взад-вперед — от своих симпатичных дешевых домиков в моллы[9] *да кинотеатры-мультиплексы, и все так счастливы, что в их головы ни одна мрачная мысль не закрадывается, тем более — воспоминания о Полицеглавах. Я о них тоже долго не вспоминала, покуда не начала скучать по женщинам Коузи. Я все думала: уж не угробили ли они в конце концов*

---

[9] Примечания: 9
Молл — крупный торговый комплекс.

друг дружку? Ведь кто, кроме меня, узнал бы об их смерти в том доме? Так и вижу картинку: одна блюет на крыльцо, но не выпускает из руки нож, которым только что перерезала глотку другой, накормившей ее ядом! А что если с одной случится удар после того, как она пристрелит другую, — так она, парализованная, и подохнет с голоду прямо перед холодильником! Так обе и валялись бы там много дней, покуда бы их не нашли! И не раньше чем Сэндлеров мальчишка пришел бы в дом за своим недельным заработком. Пожалуй, выключу телевизор — надоел.

Раньше я частенько видела одну из Коузи, когда та в их ржавом «олдсмобиле» ехала в банк или к нам заруливала, чтобы съесть рубленый стейк. А теперь они обе из дома годами не выходят. С тех самых пор как одна вернулась с пакетом из «Уолмарта»,[10] и, судя по ней, сразу было ясно, что спесь-то с нее сбили. И что-то было не видать белого чемодана «Самсонайт», с которым она когда-то сбежала. Я была уверена, что другая захлопнет дверь у нее перед носом, но она ее впустила. Думаю, обе прекрасно понимали, что сто́ят друг друга. При том, что обе уж на что

---

[10] Примечания: 10

«Уолмарт» — сеть оптовой и розничной торговли.

противные — хуже не сыщешь! — и необщительные, а тем не менее всегда оставались в центре внимания — как и бывает с теми, кто вызывает всеобщую нелюбовь. Живут себе как две королевы в доме мистера Коузи, но после того как у них поселилась эта девчонка, что носит юбку короче исподнего, а исподнее и вовсе не надевает, мне что-то за них боязно: вдруг оставят меня ни с чем, только с жеваной-пережеваной повестью о прошлых временах, а на что она сгодится? Понимаю, это вздор — очередная поучительная история, сочиненная, чтобы пугать беспутных женщин и непослушных детей. Но ничего больше у меня нет. Сама знаю: нужно кое-что другое. Получше. Ну, например, повесть о том, как бесстыжие женщины могут испоганить жизнь добропорядочному мужчине. Под эту повесть я и мурлычу себе под нос.

1. Портрет

В тот день, когда она шла по улицам Силка, колючий ветер выхолодил воздух. И солнца хватало лишь на то, чтобы подтолкнуть столбик уличных термометров на несколько градусов выше точки замерзания[11]. У кромки воды образовалась тонкая наледь, а вдали от океана теснящиеся друг к другу дома на Монарх-стрит по-щенячьи поскуливали. Ледяная корка днем поблескивала, а в вечерних сумерках становилась незаметной, отчего на обледеневшем тротуаре даже уверенно шагающая молодая девушка чуть не поскальзывалась — а что уж говорить о прихрамывающих пешеходах постарше. Ей бы наклонить голову и зажмурить глаза, спасаясь от пронизывающего ветра, но она оказалась в этом районе впервые и поэтому внимательно оглядывала каждый дом, ища глазами адрес, указанный в объявлении: «Монарх-стрит, дом 1». Наконец она свернула на подъездную дорожку, где Сэндлер Гиббонс,

[11] Примечания: 11

Здесь и далее речь идет о температуре по шкале Фаренгейта, где точка замерзания воды равна +32 градусам, что соответствует нулю градусов по Цельсию.

стоя в дверях своего гаража, вскрывал новенький мешок антиобледенительной соли «Айс-офф». Он запомнит стук ее каблуков о бетонку, когда она направилась к нему, и изгиб ее бедра, когда она встала перед ним, и похожий на спелую дыню солнечный диск у нее над головой, и яркий отсвет лампочки на лице. Он запомнит ее приятный голос: девушка спросила у него дорогу к дому, где жили две женщины, которых он знал всю жизнь.

— Вы не ошиблись? — засомневался он, когда девушка назвала ему адрес.

Она достала из кармашка кожаного жакета клочок бумаги, сжала его пальцами (перчатка на ее руке отсутствовала), перечитала адрес и кивнула.

Сэндлер Гиббонс внимательно оглядел ноги девушки и заключил, что коленки и ляжки, едва прикрытые слишком короткой юбкой, должны были вконец закоченеть на таком холоде. Затем он подивился высоте ее каблуков и покрою укороченного кожаного жакета. Поначалу он решил, что на ней шапка — большая, пушистая, чтобы ушам и шее было тепло. Потом понял, что принял за шапку копну волос, сбитых ветром вперед, из-за чего он не сразу разглядел ее лицо. Эта

девушка с точеной фигуркой выглядела милой, воспитанной и — потерянной.

— Женщины Коузи, — пробормотал он. — Вам нужен их дом. Но он уже давно не номер один. Вы только им не говорите. Вообще ничего им не говорите. У них дом 1410 или, может, 1401.

Теперь настал ее черед уточнить, не ошибается ли он.

— Слушайте, что я вам говорю! — раздраженно произнес Сэндлер Гиббонс и подумал: это я так из-за ветра, вон как хлещет по глазам. — Идите все время прямо. Вы их дом не пропустите, если не будете ворон считать. Большой такой, как церковь!

Она поблагодарила его, но не обернулась на его возглас вдогонку: «Или как тюрьма!»

Он и сам не понял, почему это выкрикнул. Наверное, потому, что думал в тот момент о своей жене. Она должна была вот-вот сойти с автобуса, и, осторожно ступая по скользкому тротуару, добрести до дорожки к гаражу. Тут уж ей не грозило падение, потому что — не зря же все соседи восхищались его предусмотрительностью и благоразумием! — он заранее подготовился к заморозкам и гололеду, притом что подобных климатических явлений в их краях сроду не было.

А упоминание о «тюрьме» означало, что на самом деле его мысли вертелись вокруг Ромена, внука, который должен был вернуться из школы еще полтора часа назад. Парню всего четырнадцать, вымахал высоченный, мышцы уже налились, но в последнее время он ходит, отводя взгляд, словно что-то скрывает, и это заставляло Сэндлера нервно поглаживать свой большой палец всякий раз, когда паренек показывался ему на глаза. Они с Видой были рады, что мальчишка живет с ними и они могут позаботиться о его воспитании, пока их дочь и зять заняты делом. Мать — в армии, отец — в торговом флоте. Лучше чем ничего: ведь после закрытия консервного завода местным чернокожим предлагались только вакансии уборщиков (женщинам — уборка домов в Харборе, а мужчинам — вывоз придорожного мусора).

Как любила приговаривать мать Сэндлера, «Родители без работы — дети без заботы». Хорошо, что у мальчишки есть постоянная работа в доме Коузи, хотя этого заработка явно недостаточно, чтобы у Ромена в кармане не гулял ветер и чтобы он не попадался на глаза полицейским — ведь те, скуки ради, готовы прицепиться к любому подростку и показать свою власть. Сам он в детстве постоянно испытывал страх перед

вооруженными добровольцами из «комитета бдительности», а теперь синие мундиры взяли на себя обязанность следить за общественным порядком. Тридцать лет назад для того, чтобы поддерживать порядок, хватало отдела с одним шерифом да одной секретаршей на телефоне, теперь же требуются четыре патрульных машины и восемь полицейских с рациями.

Сэндлер смахивал соляную пыль с ладоней, когда увидел жену и внука, причем она шла, приговаривая: «Ох, как же я рада, что ты подоспел! А то я уж боялась шею сломать!» — а паренек отвечал: «Да о чем ты, баб? Я же держал тебя под руку всю дорогу от автобуса!»

— Конечно, держал, малыш! — И Вида Гиббонс разулыбалась, упреждая любые критические замечания, которые ее муж мог бы сделать внуку.

За ужином от горячей картофельной запеканки настроение Сэндлера улучшилось, и он продолжил рассказ, начатый, когда они только садились за стол.

— Что ей, говоришь, было нужно? — нахмурившись, переспросила Вида. Ломтики окорока слегка подсохли, пока она их разогревала.

— Она искала наших Коузи. Тут сомнений нет. У нее был их адрес. То есть их старый адрес с того

времени, когда тут никто, кроме них, не жил.

— Так и было записано на бумажке? — Она полила мясо изюмным соусом.

— Я в нее не смотрел, женщина! Я видел, как она с ней сверилась. Маленький клочок бумаги, похожий на вырезку из газеты.

— Ну понятно: ты же глаз не мог оторвать от ее ног! Вот где самая важная для тебя информация!

Ромен зажмурился, зажав рот ладонью.

— Вида, не унижай меня перед мальчиком!

— Так ведь первое, о чем ты сообщил, — это о длине ее юбки! Я просто иду по списку твоих приоритетов!

— Я сказал, что юбка была короткая. И все!

— И насколько короткая? — спросила Вида, подмигнув Ромену.

— Они их носят вот досюда, ба! — Рука Ромена исчезла под столом.

— Докуда? — Вида чуть наклонилась в сторону, заглядывая под скатерть.

— Прекратите, вы оба! Я же пытаюсь вам рассказать…

— Как думаешь, может, она их племянница? — спросила Вида.

— Может, и племянница. Но это вряд ли. Если бы не ее габариты, я бы сказал, что она смахивает

на родственницу Кристин.

Сэндлер потянулся за банкой с острыми перчиками.

— У Кристин никаких родственников не осталось.

— Может, у нее есть дочь, о которой никто не знает? — Ромен не удержался и встрял в разговор взрослых, но они, как всегда, поглядели на него так, будто он сидел с расстегнутой ширинкой.

— Думай, что говоришь! — отрезал дед.

— А что я такого сказал, дедуль? Я же не знаю…

— Не знаешь — сиди и помалкивай!

— Тш!

— Ты мне дерзишь?

— Сэндлер, уймись! Ты можешь оставить ребенка в покое хоть на минуту? — возмутилась Вида.

Тот открыл было рот, чтобы аргументировать свою позицию, но в последний момент передумал и откусил кончик перца.

— Все как всегда: чем меньше я слышу о девчонках Коузи, тем больше они мне нравятся! — вздохнула Вида.

— Девчонки? — Ромен поморщился.

— Да, для меня они девчонки. Спесивые сопливые девчонки, у которых причин свысока смотреть на людей не больше, чем у кастрюли

чваниться перед сковородкой.

— А по-моему, они клевые, — возразил Ромен, — особенно тощая!

Вида бросила на него гневный взгляд.

— Не обольщайся. Она тебе платит — спасибо и на этом!

Ромен сглотнул. Ну вот, села на своего любимого конька.

— Зачем же тогда вы заставляете меня у них работать, если они такие плохие?

— Мы заставляем тебя? — Сэндлер почесал большой палец.

— Ну, посылаете меня к ним…

— Надо утопить этого мальца, Вида! Для него что помогать старикам, что пукнуть в лужу — одно и то же!

— Мы тебя послали к ним, Ромен, потому что тебе надо где-то работать. Ты живешь у нас уже четыре месяца, и пора бы переложить на себя часть обязанностей по дому.

Ромен попытался перевести разговор со своих недостатков на недостатки своих работодательниц.

— Мисс Кристин всегда кормит меня чем-нибудь вкусненьким!

— Я не желаю, чтобы ты ел ее стряпню. Она

тебя накормит…

— Вида!

— А я и не ем.

— Это же сплетня…

— Но сплетня на очень длинных ногах! И той, другой, я не доверяю! Уж я-то знаю, на что она способна!

— Вида!

— А ты разве забыл? — брови Виды удивленно вспорхнули вверх.

— Никто точно не знает.

— О чем не знает? — ввернул Ромен.

— Дело давнишнее, — уклончиво ответил дед.

Вида встала из-за стола и пошла к холодильнику.

— Его убили — это ж ясно, как божий день. А ведь какой был человек — ни червоточинки!

На десерт был порезанный кубиками консервированный ананас, который Вида подала в бокалах для шербета. Сэндлер, нимало не впечатлившись, откинулся на спинку стула. Жена поймала его взгляд, но решила не комментировать. Она работает. Он получает смешную пенсию отставного охранника. И хотя он поддерживает в доме порядок, от нее требуется каждый вечер после работы готовить для всех изысканный ужин.

— Что за человек? — не унимался Ромен.

— Билл Коузи, — ответил Сэндлер. — Когда-то он владел отелем и кучей другой недвижимости, включая землю под нашим домом.

Вида покачала головой.

— Я видела его в тот день, когда он умер. За завтраком — жив-здоров. А в обед — умер!

— Он был в ответе за многие грехи, Вида!

— Но кто-то ответил за него: «Сегодня без обеда»!

— Ты все прощаешь этому старому распутнику!

— Он хорошо нам платил, Сэндлер, и хорошо нас обучил. Много бы я узнала, если бы мы продолжали жить на болотах, в старой хибаре на сваях. Сам знаешь, на что были похожи руки моей матери. Спасибо Биллу Коузи — он на всю жизнь избавил нас от тяжелой работы.

— Да, не так-то плохо мы там жили. Иногда я скучаю по тем временам!

— И по чему же ты скучаешь? По ночному горшку под кроватью? По змеям в траве?

— По деревьям!

— Не пори чушь! — Вида в сердцах бросила ложку в стакан для шербета. Ложка громко звякнула.

— А помнишь летние грозы? — не обращая вни-

мания, продолжал Сэндлер. — Какой был воздух прямо перед…

— Вставай-ка, Ромен, — Вида тронула внука за плечо. — Помоги мне с посудой.

— Я еще не доел, ба!

— Доел! Вставай!

Ромен, недовольно пыхтя, отъехал на стуле назад и поднялся. Он хотел встретиться глазами с дедом, но тот был погружен в свои мысли и не смотрел на него.

— Нигде больше не видал такой луны, как там! — бормотал Сэндлер. — Ох уж эта луна, от одного ее вида такие желания возникали… — Он осекся. — Нет, я же не утверждаю, что хочу туда вернуться.

— Надеюсь, что нет! — Вида нарочито громко загремела тарелками. — Теперь, чтобы там жить, нужны жабры!

— Миссис Коузи говорит, это был райский уголок, — Ромен потянулся пальцами за кубиком ананаса. Вида хлопнула его по руке.

— Там была плантация. И Билл Коузи всех нас оттуда вывез.

— Тех, кого он хотел вывезти, — буркнул Сэндлер себе под нос.

— Я все слышу! И как это прикажешь пони-

мать?

— Никак, Вида. Ты же сама говоришь: он был святой!

— Вот тут я спорить не стану!

Ромен налил в кипяток жидкого мыла. Приятно было взбить ладонями мыльную пену, хотя горячая вода больно кольнула синяки на костяшках пальцев. Бок болел куда больше, когда он стоял у раковины, но ему было спокойнее слушать, как собачатся бабушка с дедом по поводу прошлой жизни. Так он меньше боялся.

Девушка не прошла мимо нужного дома, и старик с мешком «Айс-офф» не ошибся: это был величественный красивый дом, и высоким треугольником крыши над третьим этажом он и впрямь напоминал церковь. На ступени крыльца, покосившиеся и поблескивающие ледяной коркой, надо было наступать осторожно, потому что перила отсутствовали и опереться было не на что. Но девушка, уверенно стуча каблуками, прошествовала по дорожке к крыльцу и быстро поднялась к двери. Не найдя дверного звонка, она занесла руку, чтобы постучать, но замерла, заметив внизу справа полоску света. Она сбежала вниз по покосившимся ступеням и мимо торчавшей из земли шиферной плиты прошла к железным

ступенькам, на которые падал свет из окна. Здесь она оказалась укрытой от порывов морозного ветра. Рядом с окном девушка заметила дверь. Она вела в помещение под домом, которое называется «садовой квартирой» в цокольном этаже, а по-простому — в подвале. Заглянув в окно, она заметила сидевшую за столом женщину, а на столе перед ней дуршлаг, ворох газет и салатницу. Девушка постучала в стекло и, когда женщина подняла на нее взгляд, улыбнулась. Женщина медленно встала со стула, но к двери метнулась довольно резво.

— Что надо? — дверь чуть-чуть приоткрылась, и в щелке показался серый глаз.

— Я насчет работы, — ответила девушка. Из щелки потянуло запахом моря.

— Тогда тебе не сюда! — И женщина захлопнула дверь.

Девушка принялась дубасить по двери кулаком и закричала:

— Там сказано: Монарх-стрит! И это дом номер один!

Ответа не последовало, она вернулась к окну и зацокала по стеклу ногтями левой руки, а правой прижала к стеклу газетную вырезку.

Женщина подошла к окну, посмотрела на де-

вушку с нескрываемым раздражением, потом перевела взгляд с юного лица, на котором застыла умоляющая улыбка, на клочок бумаги. Она сощурилась, снова взглянула на лицо девушки, потом опять на клочок бумаги. Женщина двинулась к двери, исчезнув из поля зрения, но перед этим девушка заметила, как в ее взгляде сверкнула и угасла искорка испуга.

Впустив девушку внутрь, женщина не предложила ей сесть и ни слова не сказала. Она взяла у нее объявление и прочитала. В разделе «Требуется помощница» несколько строчек были обведены карандашом, отделявшим одно объявление от соседних вверху и внизу.

КОМПАНЬОНКА И СЕКРЕТАРЬ К ЗРЕЛОЙ ДАМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА. ПРОСТАЯ, НО ВЕСЬМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ОБРАЩАТЬСЯ К МИССИС Х. КОУЗИ. МОНАРХ-СТРИТ, ДОМ 1, СИЛК.

— Откуда это у тебя? — неодобрительно поинтересовалась женщина.

— Из газеты.

— Да уж вижу. Из какой? «Харбор джорнэл»?

— Да, мэм.

— Когда это напечатали?

— Сегодня.

Женщина вернула объявление.

— Так, можешь присесть, — уже без ноток тревоги в голосе.

— А вы миссис Х. Коузи?

Женщина окинула девушку насмешливым взглядом.

— Будь я ею, я бы уж, наверное, знала об этом объявлении, как думаешь?

Девушка звонко расхохоталась — точно связка бубенчиков зазвенела.

— И правда. Извините!

Они сели и помолчали, потом женщина вернулась к прерванному занятию: она извлекала из креветок кишечные вены. Двенадцать колец, по два на трех пальцах каждой руки, сверкали отраженным светом от потолочной лампы и словно придавали высокий смысл ее занятию, превращая поденщину в чародейство.

— Имя у тебя есть?

— Да, мэм. Джуниор.

Женщина взглянула на нее.

— Отец придумал?

— Да, мэм.

— Господи!

— Можете звать меня Джун. Если хотите.

— Не хочу. Отец дал тебе и фамилию? Небось, Пром. Или Квайр?

— Нет. Вивиани, — ответила Джун. — С «и» на конце.

— «И» на конце? Ты вообще из наших мест?

— Раньше жила здесь. Потом уехала.

— Что-то я ни одной семьи тут не знаю по фамилии Вивиани — с «и» на конце. Да и без «и».

— О, они не отсюда. В смысле — родом.

— А откуда же?

Кожаный жакет тихо фыркнул, когда Джуниор Вивиани, пожав плечами, потянулась через стол к дуршлагу.

— С севера. А можно я вам помогу, мэм? — спросила она. — Я довольно хорошо готовлю.

— Нельзя! — Женщина вскинула ладонь, пресекая возможные возражения. — Тут нужна особая сноровка.

Клубы пара поднимались от закипающей воды в кастрюле на плите. Позади стола высился громадный буфет со множеством дверец, отдраенных дочиста, цветом напоминавших вымешанное дрожжевое тесто. Молчание, повисшее над горкой креветочных панцирей, стало напряженным. Джуниор Вивиани заерзала, и кожа ее жакета жалобно заскрипела.

— А миссис Коузи сейчас здесь, мэм?

— Здесь.

— Можно мне с ней поговорить?

— Дай-ка я еще разок взгляну на твое объявление! — Женщина обтерла руки о кухонное полотенце, прежде чем взять газетную вырезку. — *Весьма конфиденциальная*, ишь ты! — Она скривила губы. — Уж в этом я не сомневаюсь. Тут все ясно! — сказала она, сжав бумажку большим и указательным пальцами, и затем выронила ее так, словно выбрасывала грязный подгузник в помойное ведро. Она снова обтерла руки и осторожно взяла креветку. В глубине плоти моллюска вилась темная нежная нить. Ловким движением опытного ювелира она нащупала ее пальцами и выудила.

— Так я могу повидать миссис Коузи, мэм? — Джуниор спрятала подбородок в ладони, для верности сопроводив свой вопрос улыбкой.

— Почему нет, конечно! Иди вверх по этой лестнице, потом поднимись еще на этаж. На самый верх! — И она махнула рукой в направлении ступеней, начинавшихся от алькова рядом с плитой. Джуниор поднялась.

— А тебе, я так понимаю, не интересно, как меня зовут?

Джуниор резко обернулась — на лице улыбка смущенная и одновременно виноватая.

— Нет, ну что вы, мэм! Простите! Конечно, интересно! Очень даже. Я просто немного нервничаю.

— Кристин меня зовут! Если получишь эту весьма конфиденциальную работу, тебе стоит его запомнить!

— Надеюсь! Приятно познакомиться, Кристин. Правда! Говорите, на второй этаж?

Стук ее каблуков растаял высоко на лестнице.

Кристин отвернулась. Ей бы надо было сказать: «Нет, на третий!» Но она не сказала. Вместо этого взглянула на красный огонек разогретой рисоварки. Собрав креветочные панцири, бросила их в кипящую воду и уменьшила огонь. Вернувшись к столу, взяла головку чеснока и, как всегда, любуясь своими пальцами в кольцах, очистила два зубчика. Потом мелко нашинковала чеснок на разделочной доске и оставила там лежать. Старенький холодильник «Филко» урчал и чуть подрагивал. Кристин похлопала его ладонью, словно в утешение, потом нагнулась к нижней дверце буфета и подумала: «И что же она удумала на этот раз? Небось, трясется от страха или собирается с духом, чтобы устроить мне очеред-

ную подлянку? Хотя… что она может? Но как она умудрилась отправить объявление в газету, не сказав мне ни слова?»

Она достала серебряную супницу со стеклянной чашей и со вздохом посмотрела на почерневшие завитки двойной буквы «К» на крышке. Как и все резные буквы в этом доме, двойная «К», некогда служившая украшением, со временем стала едва заметной. Даже на ручке ложки в кармане ее фартука эти же инициалы, спаренные навсегда, стерлись бесследно. Это была небольшая кофейная ложка, но Кристин пользовалась именно ею, чтобы не забывать девчушку, которой эту ложку когда-то подарили, и чтобы не расставаться с воспоминаниями, которые эта ложка у нее вызывала. Как она выковыривала ею кусочки персиков из домашнего мороженого, не в силах устоять перед искушением, не обращая внимания на колкие песчинки, которые ветер с океана швырял на сладкий десерт и вообще на все вкусности, взятые ими с собой на пляжный пикник.

Кристин привычно вымыла с мылом стеклянную чашу супницы, вытерла ее насухо, а тем временем ее мысли беспокойно метались, перескакивая с детских пикников на очиститель для раковин «Сильвер дип», с просоленного прибреж-

ного воздуха на ватные палочки «Кью-типс», и наконец на допрос, учиняемый в эту минуту самой мерзкой женщиной в здешних краях. Сидя напротив беззастенчиво врущей Джуниор-Можете-Звать-Меня-Джун, Кристин мысленно сравнила свое тело, каким оно было сорок — да нет, даже тридцать лет назад — с телом этой девчонки и — победила! У девчонки были красивые ноги (правда, из-за высоких сапог, кроме коленок и ляжек она ничего не разглядела как следует) и узкий выпяченный зад, — сегодня от таких задниц все прямо с ума сходят. Но ничего в ней не было такого, что могло бы составить конкуренцию Кристин образца 1947 года, когда пляж был цвета свежих сливок, а искрящиеся и грозящие всосать зазевавшегося пловца волны набегали на песок из океана такой ослепительной синевы, что ломило в глазах.

Лицо девицы… Вот тут сирена зависти завыла вовсю. Лицо и волосы роскошные, как у амазонки. Поначалу Кристин не могла от нее глаз оторвать, потом, спохватившись, притворилась, будто заинтересовалась газетной вырезкой. Если бы не эта вырезка, она бы ни за что не впустила в дом незнакомую девушку без сумки. А разделка креветок дала ей возможность выиграть время,

чтобы, изучив гостью, получить некоторое представление о том, чем она дышит (не так уж важно, кто она). К тому же ее занятие было отличным предлогом не встречаться с ней глазами, потому что ей не понравилось, как замирало ее сердце всякий раз, когда она ловила взгляд гостьи. Обескураживающий взгляд недокормленного ребенка, которого хотелось то ли приласкать, то ли отшлепать — так откровенно просительно девица таращилась на еду.

Кристин вмешала нашинкованный чеснок в расплавившееся на сковороде масло и начала готовить загуститель соуса. Она насыпала в желтую масляную лужу немного муки и стала наблюдать, как, поджарившись, мука коричневеет, затем разбавила загустевшую массу креветочным бульоном и растерла оставшиеся комочки.

Я довольно хорошо готовлю, сообщила наглая девица, норовя залезть немытыми руками в блюдо с очищенными креветками. И *раньше жила здесь*, так она заявила — и кому? Женщине, которую тут все знали и которая сама всех знала — каждого черного, когда-либо родившегося на побережье от Ниггерхед-Рок до Сукер-Бей, от Ап-Бич до Силка, да еще добрую половину из тех, кто родом из Харбора, где она прожила (или впустую

потратила?) большую часть своей жизни. Джуниор Вивиани. С «и» на конце. Похоже на фамилию в бейсбольной карточке. Так отчего же у нее замерло сердце? Неужели она боялась, что вдруг покраснеет, признав в девице родственную душу, и в ее голосе зазвенит сталь, а язык станет острым как лезвие бритвы, чтобы разом отсечь даже малейшую возможность сближения? Все явные признаки бездомной жизни юной беглянки были так ей знакомы: обмылок в общественной уборной на автобусной станции, чужие недоеденные сэндвичи, давно не мытые волосы, мятая одежда, в которой и бодрствуешь, и спишь не снимая, отсутствие сумки, зубы, которым жевательная резинка заменяет зубную пасту. И на что она такая сдалась Хид? И как в газете появилось это объявление, если в доме не работает телефон? Ей мог помочь паренек Гиббонсов — в дополнение к работе во дворе он мог сбегать по ее поручению в редакцию. Как бы там ни было, это ловушка, расставленная змеюкой на высоких каблуках. Ишь ты, придумала новый способ уворовать ее будущее — как уже однажды украла ее прошлое.

— Будь я проклята, — прошептала она.

Кристин раздвинула пальцы, чтобы испытать знакомый прилив восторга, который вызывали

у нее бриллианты. Потом взяла рис, креветки, соус и по привычке сноровисто и изящно уложила их слоями в сотейник. В сотейнике блюдо не остынет, пока она будет делать легкий салат. Потом она все выложит на серебряный поднос, поднимется по трем лестничным пролетам — и пусть всем этим подавится наимерзейшая тварь на свете…

— Боже ты мой! Снег! — Слегка раздвинув портьеры, но не поворачивая головы, произнесла миниатюрная дама. — Подойди и посмотри. Снег — и где! В наших краях!

Джуниор приблизилась к миниатюрной даме у окна и вгляделась через стекло на улицу, стараясь увидеть, но не видя, снежинки. На вид даме было не меньше шестидесяти — волосы черные как смоль на фоне серебряной каемки у корней — но при этом она пахла как маленькая девочка: ромовым леденцом, травяным соком и мехом.

— Странно, правда? У нас тут никогда не бывает снега. Никогда!

— Я видела, как мужчина посыпал дорожки антиобледенительной солью, — заметила Джуниор. — Раз он ее купил заранее, значит, знал, что она ему понадобится.

Передернув плечами, дама обернулась. Это что

такое? Девушка обозвала ее лгуньей, едва поздоровавшись…

— Ты здесь по поводу работы? — Дама чиркнула взглядом по лицу Джуниор, потом внимательно оглядела ее одежду. Она узнала о приближении девушки задолго до того, как услышала на лестнице стук ее каблуков: судя по звуку шагов, это были не Кристин и не Ромен. И она проворно заняла позицию у окна и приняла нужную позу, чтобы произвести определенное впечатление. Но зря она утруждалась: девушка оказалась совсем не такой, какой она себе ее представляла. И дело не только в неухоженных волосах и дешевенькой одежонке — соискательница держалась и разговаривала с дерзкой непринужденностью.

Например, так прозвучало небрежное «Ага!», которым она отозвалась на вопрос Хид.

— Ты хочешь сказать: «Да»?

Как и в кухне внизу, в этой комнате был очень яркий свет — словно в супермаркете. Горели все лампы сразу — их было шесть? Или десять? — и каждая ничем не уступала люстре. Взбираясь по неосвещенной лестнице и то и дело оглядываясь через плечо, Джуниор гадала, что находится в других комнатах. Казалось, женщины в этом доме жили под лучами прожекторов, и их разде-

лял — или соединял — лишь мрак между ними. Она с нескрываемым интересом разглядывала безделушки, захламлявшие столы и секретеры, и ждала, когда миниатюрная дама нарушит наступившее молчание.

— Меня зовут Хид Коузи. А тебя?

— Джуниор. Но вы можете звать меня Джун.

— О боже! — воскликнула Хид, и ее ресницы тревожно затрепетали, точно кто-то пролил красное вино на светлый бархат: ой, простите, ну конечно-конечно, ничего страшного, правда, очень трудно будет отчистить… Двинувшись прочь от окна, дама шагала медленно, осторожно лавируя между загромождавшей комнату мебелью. Оттоманка, два туалетных столика, два секретера, два приставных столика, стулья с высокими спинками и низкими сиденьями. Но все это затмевала кровать, над которой висел огромный портрет мужчины. Наконец Хид уселась за небольшой секретер. Умостив руки на коленях, она кивком пригласила девушку занять стул напротив.

— Расскажи, где ты раньше работала. В объявлении ничего не сказано про *резюм*, но мне нужно знать о твоем опыте работы.

Джуниор невольно улыбнулась: дама произ-

несла «резюме» как *резюм*.

— Мне восемнадцать, и я могу делать все что угодно. Что угодно!

— Это прекрасно. Но что насчет рекомендаций? У тебя есть рекомендации? Я могу с кем-то связаться?

— Не-а.

— Так, а как же мне узнать, честная ли ты? Не болтливая ли?

— Письмо вам ничего не скажет, даже если там будет написано все как надо. А я вам говорю: я — такая. Наймите меня — и сами увидите. А если я окажусь недостаточно для вас хорошей, ну тогда… — и Джуниор развела руками.

Хид тронула свои губы тыльной стороной ладошки, маленькой, как у ребенка, и скрюченной, как куриное крылышко. Она обдумала свою внезапно возникшую антипатию к этой Джуниор-Но-Вы-Можете-Звать-Меня-Джун и пришла к выводу, что беззастенчивая прямота девчонки — пусть и не позерство, но явно игра на публику. И еще она вот о чем подумала: так ли уж глубоко сидит в этой девчонке ее дерзкая самоуверенность? Хид сейчас нуждалась в помощнике, достаточно голодном и алчном, кого, следовательно, легко было прельстить или убедить сделать кое-что для

нее… Потому что ситуация сложилась такая, что действовать надо срочно. Кристин, в полном соответствии с ее распутной натурой, нагло тычет бриллиантами в лицо их законной владелице и постоянно таскает из дома деньги, чтобы оплачивать консультации адвоката.

— Я расскажу тебе, в чем заключается работа. Точнее сказать: твои обязанности.

— Валяйте, — Джуниор, до этого момента сидевшая перед хозяйкой дома чуть сутулясь, теперь расправила плечи и скинула жакет, при этом дешевая кожа жалобно взвизгнула. Под жакетом оказалась черная футболка, а под ней не было ничего, что поддерживало бы грудь, но Хид сразу заметила, что ничего и не требовалось: соски вызывающе торчали под тонкой тканью. В отсутствие жакета пышная шапка ее волос сразу словно увеличилась в размерах. Каскад черных штопоров, разделенных прямым пробором, в ярком свете ламп сверкал, как вороново крыло.

— Я пишу книгу, — сообщила Хид, и на ее лице засияла довольная улыбка. При упоминании о книге маска строгого высокомерия, которую она надела для этого собеседования, исчезла. — О моей семье. То есть о семье Коузи, семье моего мужа.

Джуниор взглянула на портрет мужчины.

— Это он?

— Это он. Его нарисовали с фотокарточки, так что сходство полное. Ты смотришь на чудесного человека. — Хид вздохнула. — У меня собран весь материал, но, видишь ли, кое-какие вещи требуют проверки. Даты, написание фамилий. В моем распоряжении есть все гостевые книги из отеля — думаю, за исключением двух-трех — и некоторые из этих людей, не многие, но некоторые, писали как курица лапой! Ничего не разберешь. Но, уверяю тебя, у большинства из тех, с кем я встречалась, был прекрасный почерк, потому что все мы получили *изюмительное* образование! Но Папа не позволял им писать печатными буквами, как это сейчас принято, рядом с росписью. Да ему это и не нужно было, потому что он ведь знал в лицо всех, кто *собой чем-то представлялся* и мог узнать любую роспись, хоть бы они крест поставили, но к нам, конечно же, никто не приезжал из таких, кто вместо росписи ставил крест. У наших гостей, в большинстве своем, был роскошный почерк, потому что, между нами говоря, надо не просто быть грамотным, но и занимать положение в обществе, иметь крупные достижения в жизни, понимаешь? Но какие могут быть

крупные достижения с плохим почерком? А уж сегодня люди вообще пишут левой ногой!

Хид рассмеялась и добавила:

— Прости. Ты же понятия не имеешь, о чем я говорю. Я просто увлеклась, только и всего. Так всегда бывает, стоит мне начать об этом думать, — она разгладила большими пальцами отвороты домашнего халата и вновь вернулась к теме собеседования. — Но я хочу немного услышать о тебе. Джуниор, говоришь?

— Ага.

— Ну вот, Джуниор. Ты сказала, что можешь делать все что угодно, значит, где-то ты работала раньше. И если ты будешь помогать мне с книгой, я хочу знать…

— Послушайте, миссис Коузи, я умею читать, я умею писать, о'кей? И с мозгами у меня все в порядке. Хотите, буду писать под диктовку, хотите, буду печатать на машинке. Все что угодно. Хотите, чтобы я сделала вам укладку, я сделаю. Хотите принять ванну, я вам приготовлю ванну. Мне нужна работа и жилье. Я очень хорошая, миссис Коузи. Очень-очень хорошая! — И она подмигнула, заставив Хид на мгновение подумать о чем-то недосягаемом — вроде морской раковины, внезапно унесенной набежавшей волной. И, на-

верное, ощутив вдруг острый укол меланхолии, она подалась вперед к девушке и прошептала:

— Ты умеешь хранить секреты? — Она затаила дыхание.

— Как никто другой!

Хид выдохнула.

— Потому что это секретная работа. Никто не должен о ней знать. Никто!

— Вы имеете в виду Кристин?

— Я хочу сказать: ни одна живая душа!

— Согласна.

— Но ты даже не спросила, сколько я буду тебе платить.

— Я согласна на эту работу. А вы будете мне платить? Мне можно приступить прямо сегодня или подождать до завтра?

За дверью послышались шаги. Неспешные, размеренные.

— Завтра, — Хид произнесла это слово шепотом, но с таким напором, как будто выкрикнула.

Вошла Кристин с подносом. Ее появление ни стуком не предварялось, ни словами не сопровождалось. Она поставила поднос на секретер, за которым лицом друг к другу сидели Хид и Джуниор, и удалилась, не удостоившись ничьего взгляда.

Хид приподняла крышку со сковородки и тут же вернула на место.

— Все что угодно — лишь бы мне досадить! — заметила она.

— Выглядит соблазнительно, — сообщила Джуниор.

— Вот и ешь сама!

Джуниор поддела вилкой креветку, отправила ее в рот и мечтательно произнесла:

— М-мм… Уж точно, она знает толк в стряпне!

— Она знает, что я терпеть не могу морепродукты!

Второй этаж не поразил Джуниор аляповатым интерьером, который буквально бросался в глаза на третьем. Коридор, две простенькие спальни, чей-то рабочий кабинет и ванная комната вместе занимали такую же площадь, что и громадная зала этажом выше, где Джуниор провела два часа в попытках понять, что за фрукт ее нанимательница. Это не отняло бы так много времени, но аромат горячей домашней еды настолько ее заворожил, что она забыла обо всем на свете.

Она уже доедала вторую порцию, когда наконец начала распознавать истинное лицо, спрятанное под маской. И докапываться до смысла, скрытого за нескончаемым потоком слов. В какой-то мо-

мент она стала следить за взмахами вилки Хид и даже отвлеклась от аппетитного содержимого тарелки. Зажав вилку между большим пальцем и ладошкой, Хид обмакивала листья бостонского салата в оливковое масло и уксус, протыкала оливки, поддевала зубцами луковые кольца и роняла их обратно на тарелку — и не умолкала ни на секунду. Но ничего не ела. Потом Джуниор стала изучать беспокойные руки Хид: маленькие, гладкие как у младенца, если не считать небольшого шрама, со скрюченными пальцами, они быстро-быстро шевелились — точно рыбьи плавники, — словно норовя ускользнуть прочь друг от дружки. «Артрит? — подумала Джуниор. — Так вот почему тетка не в состоянии сама написать эту книгу? Или у нее еще какой-то старческий недуг? Потеря памяти, наверное». Еще до того как в комнату принесли еду, она заметила, как изменились интонации Хид: так вдруг меняется речь, когда попадаешь из учебной аудитории в школьную раздевалку, из кабинета директора школы в бар по соседству.

Лежа под одеялом в кровати, которую ей выделила Хид, Джуниор зевала и боролась со сном, пытаясь суммировать и сортировать свежие впечатления. Она понимала, что съела чересчур

много и жевала чересчур быстро, как в самые первые дни в колонии, прежде чем научилась растягивать пайку, чтобы хватило надолго. И точно так же, как и там, сейчас она была готова к большему. Разыгравшийся аппетит ничуть ее не удивил: голод ее преследовал постоянно, — но он был прямо-таки зверский, вот что удивительно! Наблюдая незадолго до встречи с новой хозяйкой за тем, как сероглазая Кристин чистит креветки, она дала аппетиту волю и недолго думая решила, что кухарке с двенадцатью бриллиантовыми кольцами на пальцах понравится — а может, даже нужна — лестная оценка ее стряпни. И хотя Джуниор сразу подметила наигранную спесивость престарелой дамы (эта спесивость для нее была как та праведная броня, которую так любили напяливать надзирательницы в колонии), она понадеялась, что своим откровенным нахальством быстро ее пробьет. Тем не менее, жадно заглатывая вкусную домашнюю еду — впервые после того, как она многие дни добывала себе пропитание на помойках или таскала у зазевавшихся посетителей закусочных, — она временно отключила свою систему оповещения об угрозе. Как и сейчас, когда сон — в одиночестве, в тишине и наконец-то в кромешной темноте! —

помог ей победить привычную опасливость ради удовольствия. Уже одно то, что в комнате, где она спала, рядом не было параши, вызывало у нее восторг. А горячая ванна, о которой она так долго мечтала, может подождать. Стоило Хид заметить, что нет нужды ехать в такую даль на автобусную станцию, да еще в отвратную погоду, и почему бы ей сегодня не переночевать в доме, а вещи она сможет забрать из камеры хранения завтра, как Джуниор тотчас же представила себе картину: она лежит в настоящей ванне — при этом никто не пялится со стороны — и намыливает мочалку душистым мылом розового цвета. Но она услышала шум бегущей воды по трубам наверху, отчего из крана ее ванной здесь, на втором этаже, вода текла тоненькой струйкой. Хид и тут ее опередила! И Джуниор решила посвятить несколько минут обыску в чулане, где нашла старую армейскую каску, банку томатной пасты, два закаменевших мешка сахара, баночку крема для рук, жестянку сардин, бутылку из-под молока, набитую ржавыми ключами, и два запертых чемодана. Она попыталась их открыть — но тщетно. Потом скинула одежду. Помассировав ступни, юркнула под одеяло, так и не смыв с себя двухдневную грязь.

Сон так быстро ее сморил, что только в сновидениях она ощутила новое и непривычное состояние защищенности. Почти неосязаемое чувство облегчения, как в самом начале ее отсидки в колонии, когда ночи были такие страшные, когда прямоходящие змеи на крохотных ножках затаились в засаде и, высовывая узкие зеленые языки, уговаривали ее спуститься с дерева. Время от времени она замечала, что кто-то стоит внизу под ветками, в сторонке от змей, и хотя она не могла его разглядеть, одно его присутствие обещало спасение. И она пережила все эти кошмары и даже сама втянулась в них ради того только, чтобы хоть мельком увидеть лицо незнакомца. Она так и не увидела его, и через какое-то время он исчез — как и прямоходящие змеи. Но здесь, сейчас, во сне, ее поиски, похоже, завершились. Они, должно быть, начались с лица, которое нависло над ней, лежавшей в кровати ее новой хозяйки.

Красивый мужчина с волевым, как у плакатного солдата, подбородком и ободряющей улыбкой, которая сулила обилие горячей вкусной пищи до скончания дней, и с добрыми глазами, в которых теплилось обещание крепко держать на своих плечах взобравшуюся на них девочку, пока она

обрывает чужие яблоки с самой высокой ветки.

2. Друг

Вида поставила гладильную доску. И почему в больнице сократили услуги прачечной для сотрудников, сделав исключение только для «особо важного персонала» — врачей, медсестер и лаборантов, — она понять не могла. Теперь уборщики, разносчики еды, а также ассистенты вроде нее должны были сами заботиться о стирке и глажке своей униформы, и это напоминало ей о том, как было на консервном заводе до того, как Билл Коузи увез ее оттуда, предложив первую в жизни работу, где требовалось ходить в чулках. Она, разумеется, надевала чулки в больнице, но толстые, белые. А не те тонкие и женственные, которые она носила, когда работала портье в отеле Коузи. Плюс очень красивое платье — в таком было не стыдно и в церковь пойти. Билл Коузи купил ей вдобавок еще два, так что она могла их менять, и постояльцы, видя ее всегда в одном и том же, не подумали бы, что это униформа. Вида тогда решила, что он вычтет стоимость платьев из ее заработка, но он этого не сделал. Он получал удовольствие, доставляя удовольствие другим.

«Все радости жизни», любил он повторять. Это был девиз курорта, и он обещал это каждому постояльцу: «Все радости жизни без нарушения закона». Воспоминания Виды о работе на курорте перемешались с детскими воспоминаниями об отеле, когда туда приезжали разные знаменитости. Ни досадные оплошности персонала, ни даже несчастные случаи во время купания их не отпугивали, и они не уезжали, а, наоборот, с удовольствием возвращались на следующий год. А все благодаря неизменно сияющей улыбке Билла Коузи и гостеприимству, которым так славился курорт. Его смех, крепкие объятия, его инстинктивное понимание нужд посетителей заглаживали любую шероховатость. И если кто-то из постояльцев выражал недовольство из-за случайно подслушанной перепалки между персоналом, или жалобы чьей-то глупой спесивой жены, или мелкой кражи, или сломанного потолочного вентилятора, шарм Билла Коузи и поварское мастерство Л. всегда выручали. Когда фонарики, окаймляющие танцплощадку, качались на ветру, когда оркестр разогревался перед концертом, когда появлялись женщины, разодетые в муар и шифон и источавшие волны жасминового аромата, когда мужчины в элегант-

ных ботинках, с безукоризненными стрелками на льняных брюках придвигали дамам стулья, чтобы те могли усесться за столиком вплотную к ним, отсутствие солонки или слишком громкая перебранка, донесшаяся до ушей постояльцев, значения не имели. Танцующие медленно кружились под звездами и не сетовали на слишком долгие перерывы между танцами, потому что океанский бриз пьянил и веселил их куда больше, чем коктейли. А совсем поздним вечером — когда те, кто не играл в вист, заливали небылицы у барной стойки, а парочки незаметно растворялись во тьме, — оставшиеся на площадке пускались отплясывать под мелодии с диковинными названиями, которые музыканты выдумывали на ходу, чтобы одновременно привлечь, озадачить и поразить свою аудиторию.

Вида считала себя практичной женщиной, благоразумной и душевной, скорее предусмотрительной, чем мечтательной. Но тем не менее у нее остались только самые сладкие воспоминания о том девятилетнем периоде в ее жизни, начавшемся сразу после рождения ее единственного ребенка — Долли — в 1962 году. Тогда еще можно было не замечать медленного заката курорта Коузи, что позднее скрывать стало невозмож-

но. А потом Билл Коузи умер, и девчонки Коузи затеяли ссору прямо у его гроба. И снова, как и всегда, Л. восстановила спокойствие. Стоило ей прошипеть им в лицо пару слов, как обе разом замолкли. Кристин убрала нож, а Хид подхватила свою смешную шляпку и отошла к другому краю могилы. Вот так они и стояли по обе стороны гроба Билла Коузи, одна справа, другая слева, с одинаковым выражением лица, хотя лица у них разные, как мед и сажа. Вот что делает ненависть. Выжигает все, кроме себя самой, и какое бы у тебя ни было горе, твое лицо выглядит точь-в-точь как у твоего врага. И после того случая ни у кого не возникало сомнений, что все радости жизни умерли вместе с ним. Если Хид втайне лелеяла мечту возродить отель и снова сделать его таким, каким он был, когда маленькая Вида бегала по Ап-Бич, эта мечта рухнула в тот самый день, когда Л. уволилась. Она подняла с земли похоронную лилию и больше в отеле не появлялась — даже за вещами не вернулась, ни за своим поварским колпаком, ни за белыми оксфордами. Она прошагала в выходных туфлях на пятисантиметровых каблуках от кладбища до самого Ап-Бич, заявила права собственности на материну хибару и в ней поселилась. Хид сделала все, что могла и что

требовалось, пытаясь сохранить гостиничный бизнес, но шестнадцатилетний диск-жокей с пленочным магнитофоном мог завлечь на танцплощадку только местных. Никто из настоящих толстосумов не хотел ехать за тридевять земель, чтобы танцевать под такое, и не хотел платить за номер в отеле, чтобы услышать слащавые мелодии в стиле ду-уоп, которые можно послушать и дома по радио, и никого из прежних постояльцев не прельщала открытая танцплощадка с толпой подростков, трясущихся под музыку, которую они никогда не слышали. К тому же, и это самое главное, и еда, и сервис, и чистота постельного белья недотягивали до привычного им уровня изысканности, не замечаемой и не востребованной новыми отдыхающими.

Вида обогнула носиком утюга пуговки, в который уж раз проклиная выемку в металле, без которой, по разумению какого-то идиота мужского пола, при глажке было просто не обойтись. Такой же идиот решил, что легкий стальной утюг гладит лучше, чем чугунный. Легкий-то он легкий, да только не отглаживает то, что требует особой тщательности — а на обычных вещах, футболках, тонких полотенцах, дешевых наволочках складки можно и влажными рука-

ми разгладить… Но только не на больничной униформе из плотного хлопка, с двенадцатью пуговками, с обшлагами на рукавах да с четырьмя карманами, и еще со стоячим воротничком, отдельно пришитым к отворотам. Вот до чего она дошла! Вида понимала: ей еще сильно повезло с этой работой в больнице. Какой-никакой, а ее заработок помогает наполнить дом звоночками всех этих полезных новинок, сигналящими, что пора вынимать разогретую еду из микроволновки, или белье из стиральной машины или из сушки, и что где-то появился опасный дым, и что телефонная трубка не положена на рычаг. Огоньки начинали мигать, когда в кофеварке был готов свежий кофе, а в тостере — тосты, и утюг разогрет до нужной температуры. Но как ни повезло ей с нынешней работой, Вида все равно тосковала по той, давнишней, которая приносила ей хотя и не так много денег, но зато куда больше радости. Курортный отель Коузи был не просто развлекательным заведением, а школой и кровом, клубом, где люди обсуждали бунты в городах и убийства активистов в Миссисипи, вели жаркие споры о том, что с этим делать — не только же горевать и беспокоиться за своих детей. А потом начинала играть музыка, которая убеждала их всех, что

они смогут справиться со всеми трудностями и будут жить как ни в чем не бывало…

Она не сдавалась, эта Хид. Тут ей надо отдать должное. Но только за это, а не за то, что она раздала семьям, пострадавшим во время урагана, драные полотенца и простыни, хотя могла бы и денег дать. В течение многих лет, вплоть до самой его смерти, когда Коузи, старея, утерял интерес ко всему, кроме Нэта Кинга Коула и «Дикой индейки»[12], Хид суетилась в отеле, точно ухудшенная версия Скарлетт О'Хара, — отвергая любые советы, увольняя самых работящих, нанимая самых никудышных и без устали цапаясь с Мэй, единственной, кто реально отравлял ей жизнь. Но не могла же она уволить падчерицу при живом Коузи, даже при том, что он целыми днями рыбачил, а потом почти все ночи проводил в компании подвыпивших приятелей. Да, и вот чем все кончилось: властный красивый мужчина пал жертвой враждующих женщин, позволив им разрушить все, им построенное. И как они смогли такое учудить, поражалась Вида. Как они могли допустить в отель всякое отребье бандит-

[12] Примечания: 12

Нэт Кинг Коул (1919–1965) — джазовый инструменталист и певец, звезда 1940–1960-х гг.; «Дикая индейка» (*Wild Turkey*) — популярная марка бурбона.

ского вида, разнорабочих, рвань с консервного завода, мигрантов-поденщиков, за которыми тут же хвостом увязалась полиция, и отель попал в зону ее внимания. Поначалу Вида считала, что разношерстная клиентура наводнила курорт из-за клептоманки Мэй: одному богу ведомо, что эти шаромыжники тырили из отеля. Правда, Мэй повадилась таскать вещи еще до того, как Вида пришла туда работать, и задолго до того, как изменился контингент постояльцев курорта. Если говорить совсем точно, то уже на второй день работы за стойкой портье Виду едва не обвинили в воровстве, а все из-за пагубного пристрастия Мэй. В отель заселялась семья из Огайо, четыре человека. Вида раскрыла регистрационную книгу. Дата, фамилия, номер комнаты уже были аккуратно выведены печатными буквами слева, а справа оставалось место для росписи постояльца. Вида потянулась к мраморному чернильному прибору, но авторучки не обнаружила — ни на подставке, ни поблизости. Смутившись, она полезла в ящик. Хид появилась в тот момент, когда она протягивала отцу семейства карандаш.

— Как это так? Почему ты даешь гостю карандаш?

— Ручка пропала, мэм.

— Не может быть. Поищи лучше.
— Я искала. Ее нигде нет.
— А у себя в сумочке ты не смотрела?
— Простите…
— Или в кармане своего пальто?

Хид посмотрела на гостей и одарила их виноватой улыбкой, словно давая понять, как трудно ей управлять никудышными сотрудниками. Виде тогда было семнадцать, и она недавно родила. Должность, которую ей дал мистер Коузи, была достойная и, как она надеялась, постоянная, позволявшая навсегда расстаться с вонючим рыбным цехом, где она раньше трудилась и где все еще работал ее муж. У нее пересохло во рту и затряслись пальцы, когда Хид заподозрила ее в краже. Покатившиеся по щекам слезы еще больше ее унизили, но тут подоспела подмога — женщина в белом поварском колпаке с авторучкой в руке. Женщина вернула ручку на место и, обратившись к Хид, тихо заметила:

— Мэй. Ну, ты это и сама знаешь.

Вот тогда-то Вида и поняла, что тут ей предстоит научиться не только регистрировать новых постояльцев и считать их деньги, но гораздо большему. Как и на любой другой работе, здесь сложились враждующие альянсы, которые вели

непонятные битвы и торжествовали мелкие победы. Мистер Коузи был королем, Л. — женщина в поварском колпаке — кардиналом, а все остальные: Хид, Вида, Мэй, официанты, горничные — придворными, соперничавшими друг с другом за улыбку монарха.

Ей самой было удивительно, с чего это она недавно за ужином вдруг припомнила старую сплетню о причине смерти мистера Коузи. Ненавидя сплетни, рождавшиеся в завистливых мозгах, она хотела верить диагнозу врача: сердечный приступ. Или словам Л.: «больное сердце». Или даже тому, что брякнула Мэй: «десегрегация в школьных автобусах»[13]. Но, разумеется, не тому, о чем злословили его недруги: «последствия сифилиса». Сэндлер тогда изрек: восемьдесят один год — этого вполне достаточно, Билл Коузи просто устал жить. Но Вида собственными глазами видела, какой мутной была в его стакане вода перед тем, как он ее выпил, и как дернулась его рука — не к груди, где сердце перестало биться, а к желудку. Но все те, кто желал его смерти — Кристин и чей-нибудь муж или пара мужей, и кое-кто

---

[13] Примечания: 13

Имеется в виду совместная перевозка белых и чернокожих учеников в школьных автобусах, чего добивались активисты борьбы за гражданские права в 1950–1960-х гг.

из белых бизнесменов, — были тогда далеко. А рядом с ним — только она, Л. и официант. Боже, какая тогда поднялась суматоха. Умирающее тело двигалось, корчилось в предсмертных судорогах. А потом Хид начала истерично орать. Мэй побежала в дом на Монарх-стрит и заперлась там в чулане. Если бы не Л., то самому уважаемому человеку в округе не организовали бы достойных похорон, которых он заслуживал. И когда Кристин и Хид чуть не сорвали церемонию в самом конце, Л. встала между этими настырными гадюками и заставила их прикусить языки. И, как все говорят, они до сих пор не разговаривают, дожидаясь, когда кто-нибудь из них помрет. Выходит, та девушка, которую Сэндлер направил к ним в дом, родня Хид. У нее единственной остались живые родственники. Не меньше полусотни племянников и племянниц от пяти братьев и трех сестер. А может, девчонка и не родня никакая. Вида решила поручить Ромену все разузнать — окольными путями, если удастся, а не удастся — так напрямую. Хотя получить от него достоверный ответ — на это надежда слабая. Паренек что-то в последнее время стал рассеянный и какой-то смурной. Если б кто из его родителей сейчас приехал в отпуск, было бы совсем неплохо:

хоть присмотрят за ним, пока он не попал в беду, а ведь если с ним что-то случится, то ни Сэндлер, ни она ничего поделать не смогут. Костяшки на руках у него сбиты явно не от работы лопатой. Он с кем-то подрался. Плохо!

Стоя перед датчиком бойлера в подвале, освещенном одинокой лампочкой, Сэндлер усмехнулся: Вида опять за свое. А и правда, ноги той девчонки его поразили. На таком морозном ветру с голыми ногами — и ни намека на мурашки! На ногах кожа упругая, гладкая, а под ней угадывается крепкая мускулатура. Ноги танцовщицы: длинные, тоскующие по движениям, желающие подняться, раздвинуться, крепко тебя обхватить… Постыдился бы, старый, подумал он, и его усмешка превратилась в приглушенный смех: дедушка уже, пятидесяти с лишком лет, верный и преданный жене, хихикает в рукав и радуется, что возбудился, случайно увидев голые девичьи ляжки. Он знал, что проявленная им в разговоре с ней грубоватость была реакцией на желание, которое она в нем пробудила. И понадеялся, что она это тоже поняла.

Сэндлер посмотрел на стрелку датчика и стал гадать, дотянут ли установленные на нем восемьдесят градусов до семидесяти в его спальне,

потому что выставленные сейчас семьдесят градусов в спальне снижались до шестидесяти[14]. Он вздохнул, пытаясь решить эту трудную задачку: печь, в которой редко возникала нужда в здешнем климате, тоже, наверное, была в замешательстве по поводу своей работы, как и он. И Сэндлер снова вздохнул, вспомнив полуодетую девушку, которая, очевидно, приехала с Севера и привыкла к заморозкам. Он даже вообразить себе не мог, зачем ей понадобился кто-то из женщин Коузи. Надо попросить Ромена выяснить. Или не стоит? Просьба пошпионить еще, чего доброго, омрачит их взаимоотношения, которые и без того испортились из-за недоверия. Ему хотелось, чтобы Ромен рос честным парнем, а не вынюхивал у пожилых женщин чужие секреты, выполняя фривольное поручение деда. Такое поручение подорвет его моральный авторитет. Хотя… Если парню удастся что-то вынюхать, он с интересом выслушает его рассказ — кто ж откажется! Людей у нас хлебом не корми — дай только посплетничать о семействе Коузи. Вот уже полвека как на всем побережье — в Оушенсайде, Сукер-Бей, Ап-Бич и Силке — об их семейных делах любой

[14] Примечания: 14

По шкале Фаренгейта 80, 70 и 60 градусов примерно соответствуют 27, 21 и 15 градусам по Цельсию.

рад почесать языком. Оно и понятно: курорт был для всех как магнит. Местных обеспечивал разной работой, помимо привычной рыбалки да закатывания крабового мяса в банки, привлекал приезжих со всех концов страны, о которых потом годами возбужденно сплетничали. А так ведь, кабы не гости курорта, местные никого, кроме своих соседей, и не видали бы. И когда респектабельные туристы перестали сюда приезжать, эту утрату все тяжело переживали: так бывает, когда после мощной волны, сбежавшей обратно в океан, на песке остаются валяться одни только пустые раковины да обрывки нечитаемых рукописей.

В их оушенсайдском доме были холодные углы, куда тепло от труб отопления, похоже, никогда не добиралось. Но и теплые места тоже были. И все его попытки подрегулировать термостат, систему отопления и фильтры ни к чему не приводили. Как и для соседей, для него постройка этого дома была чисто символическим действием: двухдюймовые гвозди вместо четырехдюймовых, тонкая кровля гарантировала простоять десять лет, а не тридцать, окна, застекленные в одно полотно, вечно дребезжали в рамах. С каждым годом Сэндлер все больше проникался любовью к тому

краю, откуда они с Видой когда-то уехали. Она, конечно, была права, что уговорила его уехать из Ап-Бич еще до засухи, после которой случилось наводнение, и она о том своем решении никогда не жалела. А он вот жалел почти каждый день, как сейчас, в этот жутко холодный вечер, и грезил о потрескивающих поленьях в пузатой печурке, о чудесном запахе горящих досок, найденных на берегу. Он не мог забыть живописную картину вытянувшихся в ряд лачуг в Ап-Бич, преображенных магическим светом луны. А здесь, в этом доме, выстроенном по одобренному проекту, согласно государственной жилищной программе, где было так много рукотворного света, луна не могла никого сбить с пути истинного. Планировщики полагали, что темнокожие будут менее склонны к темным делишкам, если в местах их обитания удвоить количество уличных фонарей — чтобы стало как в любом другом районе. Только в приличных кварталах города да в сельской местности люди доверялись темноте. Поэтому даже полная яркая луна Сэндлеру казалась далеким маяком для искателя сокровищ, а не тем сказочным золотым покрывалом, которое распростерлось над ним и ветхой лачугой его детства, сотворив с ним извечный фокус, что про-

делывает со всеми мир, заставляя тебя поверить, будто он — твой и все в нем принадлежит тебе. А ему хотелось, чтобы луна вновь протянула длинный золотой перст, который пробежал бы по океанским волнам и указал прямо на него. Где бы он ни стоял на пространном пляже, прикосновение этого перста было незыблемым и нежным, словно прикосновение материнской руки, потому что золотой перст безошибочно находил его, всегда зная, где он. И хотя Сэндлер отдавал себе отчет в том, что это прикосновение исходит от холодного камня, не способного даже выразить свое равнодушие, он также знал, что этот перст указывает именно на него и ни на кого другого. Как та прилетевшая на крыльях ветра девушка, которая тоже выбрала его и, явившись из порыва вечернего ветра и встав между яркой лампочкой в гараже и закатным солнцем, окаймленная сиянием, ярко освещенная лучом света, глядела только на него…

Билл Коузи сделал бы для этой девушки куда больше. Он бы пригласил ее зайти погреться, предложил бы довезти ее куда надо, вместо того чтобы рявкнуть, усомнившись в точности адреса. И уж Коузи наверняка бы добился своего. Это ему почти всегда удавалось. Вида, как и многие

другие, всегда относилась к нему с обожанием, всегда говорила о нем с всепрощающей улыбкой. Она гордилась его манерами, богатством и тем примером, что он подавал, заставляя всех думать, что терпением и упорством они смогут добиться в жизни того же, что и он. Но Сэндлер много раз с ним рыбачил и, не претендуя на знание его души или кошелька, хорошо знал его повадки.

Яхта покачивалась на волнах с подветренной стороны в бухточке: вопреки ожиданиям Сэндлера, они не стали выходить в открытое море. Его удивило приглашение на рыбалку, так как Коузи обычно приглашал на свою яхту только особых гостей курорта или, чаще всего, шерифа Бадди Силка — члена семьи, чья фамилия дала название целому городку и чья фантазия придумала для здешних улиц наименования в честь героев эпических кинокартин. Коузи подкатил к Сэндлеру на дороге, где тот припарковал свой драндулет в ожидании Виды. Он остановил бледно-голубую «Импалу» рядом с пикапом Сэндлера и спросил:

— Ты завтра не занят?

— Нет, сэр.

— Не работаешь?

— Нет, сэр. Консервный завод по воскресеньям закрыт.

— А, верно!

— Я вам для чего-то нужен?

Коузи поджал губы, словно продолжал обдумывать невысказанное приглашение, и отвернулся. Сэндлер изучал его профиль, чем-то схожий с профилем на пятицентовой монетке, только без косичек и перьев[15]. Коузи, по-прежнему красивому, тогда было семьдесят четыре, а Сэндлеру двадцать два. Коузи был больше двадцати лет как женат, а Сэндлер — меньше трех. У Коузи денег была куча. А Сэндлер зарабатывал доллар семьдесят центов в час. Он тогда поймал себя на мысли: интересно, есть ли еще на свете двое мужчин, кому вообще не о чем разговаривать друг с другом?

Приняв решение, Коузи повернулся к Сэндлеру.

— Я собираюсь порыбачить. Выхожу завтра до рассвета. Подумал, может, ты захочешь присоединиться?

Возясь с рыбой целыми днями, Сэндлер даже не задумывался о том, что рыбная ловля для ко-

---

[15] Примечания: 15

Имеется в виду старая пятицентовая монета (чеканилась в 1913–1938 гг.) с изображением профиля американского индейца на лицевой стороне (в более поздних версиях монеты его сменил профиль президента Томаса Джефферсона, 1743–1826).

го-то может быть приятным развлечением. Он бы ради развлечения поохотился, а не порыбачил, но отказаться было нельзя. Виде бы это не понравилось, к тому же он слыхал, что у Коузи шикарная яхта.

— Ничего с собой приносить не надо. У меня все есть.

Мог бы и не говорить, усмехнулся про себя Сэндлер.

Они встретились на пирсе в четыре утра и сразу же вышли в океан. Оба молчали. Ни слова о погоде или о видах на улов.

В то утро Коузи казался куда менее радушным, чем накануне вечером. Сэндлер объяснил себе эту перемену в настроении серьезностью задачи: непросто было управлять миниатюрным лайнером, который сначала предстояло вывести в открытый океан, а затем направить в одну из бухточек, где Сэндлер раньше никогда не бывал. Или же дело было в том, что они вдруг оказались вдвоем. Коузи на публике никогда не общался с местными, то есть он их, конечно, нанимал на работу, шутил с ними, иногда даже помогал в трудных ситуациях, но, кроме церковных пикников, местных на территорию курорта не допускали — ни в ресторан, ни на танцплощадку. Когда-то,

в сороковые, их отпугивали кусачие цены, но даже если местная семья скапливала достаточно средств, чтобы сыграть в отеле Коузи свадьбу, им отказывали. Вежливо. С сожалением. Но твердо. Мест нет и не предвидится. Кого-то столь откровенные отказы, может, и обижали, но в те давние времена люди не протестовали, считая подобное отношение к себе вполне объяснимым. У них не было ни соответствующей одежды, ни денег, да им не очень-то и хотелось чувствовать себя не в своей тарелке рядом с теми, у кого всего этого было вдоволь. Когда Сэндлер был мальчишкой, им вполне достаточно было просто глазеть на гостей, любоваться их автомобилями, дорогими кожаными чемоданами, слушать звучавшую издалека музыку и танцевать под нее в ночи, в кромешной темноте между домами, скрываясь в тени под окнами. Им достаточно было просто знать, что они живут рядом со знаменитым курортным комплексом Билла Коузи, где для отдыха созданы шикарные условия, каких не найти больше нигде в округе или, если на то пошло, во всем штате. Рабочие консервного завода и рыбацкие семьи говорили о нем с придыханием. Как и горничные, приезжавшие в Силк, и прачки, и сборщики фруктов, а также учителя из окрест-

ных школ и даже заезжие проповедники, обычно не одобрявшие подогретые спиртным сборища и танцульки, — все ощущали свою причастность к реализованной тайной мечте, причастность, переросшую в чуть ли не принадлежность к процветающему курорту, которым владел один из «наших». Эта сказка не умерла даже после того, как отель, чтобы продолжить существование, распахнул свои двери всякому сброду, который раньше на порог не пускали.

— Косяки бониты[16] опять вернулись в наши воды! — сообщил Коузи. — Но, думаю, долго они тут не задержатся.

Его лицо просветлело, он достал термос с кофе, который, как Сэндлер сразу же обнаружил, оказался настолько «крепленым», что напоминал кофе только цветом, но никак не вкусом. И напиток возымел действие. Скоро оба наперебой обсуждали достоинства Кассиуса Клея, позабыв о разгоревшемся было споре по поводу Медгара Эверса[17].

---

[16] Примечания: 16

Бонита — некрупная мигрирующая рыба из семейства скумбриевых.

[17] Примечания: 17

Кассиус Клей (Младший) — настоящее имя американского боксера Мохаммеда Али (1942–2016); Медгар Эверс (1925–1963) — активист движения за гражданские права негров в штате Миссисипи, был убит белым расистом.

Улов оказался небогатым, но их беседа с шутками-прибаутками не замирала вплоть до восхода, когда алкоголь выветрился и разговор приобрел мрачную тональность. Глядя на корчащихся червяков в брюхе выловленной зубатки, Коузи процедил:

— Когда убиваешь хищников, самые слабые сожрут тебя заживо.

— Все знают свое место, мистер Коузи, — заметил Сэндлер.

— Верно. Все. Кроме женщин. Они вечно лезут куда их не просят.

Сэндлер рассмеялся.

— В постель, — продолжал Коузи, — на кухню, во двор, за стол, тебе под ноги, тебе на шею.

— Ну, наверное, это не так уж и плохо, — предположил Сэндлер.

— Нет, нет! Жизнь прекрасна и удивительна!

— Тогда почему же вы не улыбаетесь?

Билл Коузи внимательно посмотрел на Сэндлера. В его глазах, хотя и блестевших от выпитого, застыло страдание — они напоминали треснутое стекло.

— А что обо мне болтают? — спросил он, отхлебнув из термоса.

— Кто?

— Да вы все. Сам знаешь кто. У меня за спиной.

— Вас очень уважают, мистер Коузи.

Коузи тяжело вздохнул, словно ответ его разочаровал.

— Будь я проклят, если это так. И будь я проклят, если не так.

И потом, стремительно сменив тему, как это свойственно детям и пьяницам, добавил:

— Моему сыну Билли было столько же, сколько тебе сейчас. Ну то есть когда он умер.

— Да что вы!

— Мы с ним всегда ладили. Прекрасно ладили. Мы с ним были как два закадычных друга, а не просто как отец с сыном. Когда я его потерял… будто кто-то вдруг вылез из могилы и уволок с собой. В голове не укладывается…

— Кто-то?

— Я хотел сказать — что-то.

— А отчего он умер?

— Коварнейшая болезнь. Ее называют «атипичная пневмония». Никаких симптомов. Кашлянул раз или два, и все — тушите свет! — Он с ненавистью поглядел в воду, словно там обреталась не дающая ему покоя тайна. — Меня это просто подкосило. Долго потом пришлось приходить в себя.

— Но вам удалось… Прийти в себя.

— Да, — с улыбкой произнес он. — В моей жизни появилась красивая женщина, и тучи рассеялись.

— Ну вот, видите. А вы жалуетесь…

— Ты прав. Но мы с ним были настолько близки, что я почему-то не удосужился узнать его получше. Я все никак не мог взять в толк, зачем он выбрал себе такую женщину, как Мэй, зачем женился на ней… Может быть, он был совсем не таким, каким я его себе представлял, а я сделал из него… свою тень. И теперь мне кажется, что я вообще никого не понимаю. А раз так, то почему кто-то должен понимать меня?

— Людей вообще трудно понять. О людях можно судить только на основании их поступков, — произнес Сэндлер и подумал: старик что, жалуется, как он одинок и что его никто не понимает? Что он переживает о сыне, который умер двадцать с лишком лет тому назад? И этот человек, у которого друзей больше, чем пчел в улье, переживает за свою репутацию? Женщины готовы перегрызть друг дружку, лишь бы привлечь к себе его внимание, словно он знаменитый проповедник. А он еще сетует, какое это для него тяжкое бремя…

И Сэндлер решил, что виски настроил Коузи на слезливый лад. Да, наверное, все дело в виски,

в противном случае он оказался бы в компании дурака. Легче проглотить раскаленные камни, чем выслушивать жалобы богатого человека. Почувствовав себя немного уязвленным, Сэндлер привлек внимание собеседника к банке с наживкой. Если бы он еще подождал немного, Коузи и сам бы сменил тему. Что тот и сделал, спев несколько куплетов из песни «Плэттерс»[18].

— А знаешь ли ты, что все законы в нашей стране пишутся для того, чтобы вернуть нас в прошлое?

Сэндлер взглянул на него и подумал: а это еще к чему? И сказал со смехом:

— Не может быть!

— Так и есть!

— А как же… — Но Сэндлер не смог припомнить ни одного закона о чем-нибудь, кроме убийства, но этот аргумент не помог бы ему в споре. Всем известно, кого отправляют в тюрьму, а кого нет. Чернокожий убийца — просто убийца, а белый убийца — несчастный. Он не сомневался, что в основе всех законов — деньги, а не цвет кожи, о чем так прямо и сказал.

---

[18] Примечания: 18

Вокальная группа из Лос-Анджелеса, образованная в 1953 г. и прославившаяся многими хитами, в том числе песней «Только ты» (*Only you*, 1955).

Коузи, медленно подмигнув, покачал головой:

— А ты вот о чем подумай. Негр может получить краткосрочный кредит наличными, под солидный залог, но на банковскую ссуду нет никакой надежды. Об этом подумай!

Но Сэндлеру не хотелось об этом думать. Он недавно женился, недавно у него родилась дочка. Вида — вот его кредит наличными. А Долли — его главная надежда.

Это была их первая рыбалка из многих, первая доверительная беседа из многих. В конце концов Коузи уговорил Сэндлера бросить разделку крабов на консервном заводе. С чаевыми работа официантом в отельном ресторане могла принести куда больше денег. Сэндлер поработал так несколько месяцев, но в 1966-м, когда по всем крупным городам страны прокатилась волна беспорядков, директор консервного завода предложил ему должность бригадира в надежде, что тем самым он заранее пресечет смуту, которая могла бы зародиться в среде сплошь чернокожих заводчан. И это сработало. Да и Коузи было легче продолжать дружбу с заводским бригадиром, а не с одним из своих официантов. Но чем больше Сэндлер узнавал этого человека, тем меньше он его понимал. Иногда симпатия побеждала разо-

чарование, а иногда неприязнь брала верх над симпатией.

Как после того, когда Коузи поведал ему вот такую историю из своего детства. Однажды отец попросил его поиграть на соседском дворе, чтобы малыш смог проследить, кто выходит из их дома через заднюю дверь. Каждое утро он бегал туда. И смотрел. И как-то раз заметил, что из задней двери выскользнул мужчина. В тот же вечер он увидел, как того мужчину проволокли по всей улице, привязав к фургону, запряженному четверкой лошадей.

— Вы помогли поймать вора и убийцу? — восхищенно спросил Сэндлер.

— Угу.

— Вы молодец!

— За фургоном бежала ватага детей, они плакали. Среди них была девчушка, одетая в лохмотья. Она наступила ножкой в конское яблоко, споткнулась и упала. Все вокруг засмеялись.

— И что вы сделали?

— А ничего не сделал. Ничего.

— Вы же тогда были маленьким?

— Да.

Невольно возникшая у Сэндлера за время рассказа симпатия вдруг сменилась оторопью,

когда он подумал, что и маленький Коузи тоже смеялся вместе со всеми. В другие моменты в нем просыпалась активная неприязнь к старику — например, когда тот поведал, как отказался продать местным свою землю. Общественное мнение разделилось: кто-то осуждал его, кто-то — его жену за то, что они продали землю девелоперу, предложившему им деньги из государственного фонда застройки. Скопив выручку от продажи жареной рыбы, домашних булочек и пирожков и ненужного в доме хлама и добавив еще церковные пожертвования, люди смогли собрать достаточно для первого взноса. Они планировали создать что-то вроде кооператива, объединяющего небольшие предприятия, школу в рамках программы «Удачное начало»[19], культурный центр поддержки искусства и ремесел и учебные курсы по истории чернокожих американцев и социальной самозащите. Поначалу Коузи загорелся этой идеей, но все время тянул с заключением контракта, тянул до тех пор, пока принимать решение не пришлось уже его вдове.

[19] Примечания: 19

Речь идет о получившей популярность в середине 1960-х гг. государственной программе «Удачное начало» (*Head Start*), предусматривавшей дошкольное обучение, социализацию и контроль за питанием детей из малоимущих семей.

Но не успели положить на его могилу надгробную плиту, как она продала землю. И когда Сэндлер и все остальные переехали жить в Оушенсайд, он по-прежнему относился к Коузи неоднозначно. Сколько бы он его ни изучал, сколько бы ни наблюдал за ним, это не могло изменить его двойственного отношения — для него это, скорее, был своего рода курс человековедения. Поначалу он считал Коузи самым обычным толстосумом. По крайней мере, так о нем отзывались люди, и он сорил деньгами направо и налево, словно в оправдание общепринятого мнения. Но после многих совместных рыбалок в течение года или двух Сэндлер стал видеть в богатстве Коузи не дубину в руках расчетливого дельца, а игрушку сентиментального мужчины. Да, богатые умеют действовать как акулы, но движет ими детская любовь к сладенькому. Детские мечтания, которые могли расцвести пышным цветом только на лугах девчачьих грез об обожании, покорности и бесконечных забавах. Вида считала, что с портрета над стойкой портье на нее взирает всесильный и щедрый друг. Но это потому, что она не знала, на кого именно он взирает…

Сэндлер поднялся по лестнице из подвала. Идея досрочно выйти на пенсию, к чему его когда-то

принудили, в тот момент показалась ему здравой. Ночные обходы в торговом центре давали отдохновение разуму, не замедляя бег мыслей. Не притупляя мозг. Но теперь Сэндлер часто задумывался, не поражен ли его мозг каким-то недугом, который он раньше не брал в расчет, потому что в последнее время он все больше и больше зацикливался на своем прошлом, а не на настоящем. Когда он вошел в кухню, Вида складывала выглаженную одежду и подпевала какой-то кантри-блюзовой мелодии, лившейся из радиоприемника. И, возможно, вспомнив глаза, напоминавшие треснутое стекло, а не глаза с портрета, он обхватил жену за плечи, развернул к себе и, крепко прижав к груди, закружил в медленном танце.

А может, девчачьи слезы куда хуже, чем причина, заставившая их пролить. Может, они были признаком слабости, которую заметили окружающие и заявили о ней еще до того, как он дал оттуда деру. Еще до того, как у него вдруг все похолодело в груди при виде ее нелепо вывернутых вниз рук, стянутых белоснежными шнурками. Эти руки можно было принять за пару варежек, нелепо болтающихся на бельевой веревке — будто какая-то потаскушка, которой наплевать, что

скажут соседи, нагло протянула веревку через весь двор. И сливовый лак на обгрызенных до кожи ноготках придавал этим похожим на варежки крошечным рукам вид рук взрослой девушки, что и заставило Ромена подумать о ней как о потаскушке, которой наплевать на то, что о ней могут подумать…

Он был следующим в очереди. И уже был внутренне готов — несмотря на жалкий вид этих связанных рук и кошачье хныканье, клокочущее у нее в горле. Он стоял около спинки кровати, завороженный громкими стонами Тео, чья голова ритмично моталась взад-вперед над девочкой, которая отчаянно извивалась, отвернув к стене лицо, скрытое под упавшими на него растрепанными волосами. Он уже расстегнул ремень и сгорал от предвкушения, готовый стать наконец тем самым Роменом, которым он себя всегда рисовал в воображении: крутым, опасным, отвязным. Он был последним из семерых. Трое, как только кончили, выбежали из комнаты, на выходе победно вскинув пятерни, и быстро смешались с участниками шумной вечеринки. Фредди и Джамал, хоть и обессиленные, остались сидеть на полу и продолжали наблюдать за Тео, который начал первым, а теперь пошел по второму кругу.

На этот раз он не спешил, и его постанывание было единственным звуком, потому что девочка теперь перестала хныкать. Когда он отлепился от нее, пахнуло лежалыми овощами, гнилым виноградом и мокрой глиной. В комнате повисла звонкая тишина.

Ромен шагнул вперед сменить Тео, а потом удивленно заметил, что его руки сами собой схватились за спинку кровати. Узел шнурка, стягивавшего ее правое запястье, развязался, как только он до него дотронулся, и ее рука бессильно упала на подушку. Она так и осталась лежать, и девочка не стала ею ни отбиваться, ни царапаться, ни убирать волосы с лица. Ромен отвязал вторую руку, которая все еще была крепко стянута шнурком от кроссовок. Потом завернул девочку в покрывало, на котором она лежала, и рывком усадил. Он поднял с пола ее розовые кожаные туфли на высоких каблуках с ремешками крест-накрест спереди — обувка ни на что не годная, кроме как для танцев да форса. И тут услыхал лающий смех — это сначала, а за ним последовали грубые шуточки и гневные возгласы, но он выволок ее из комнаты и, протащив сквозь толпу танцующих, вывел на крыльцо. Дрожа всем телом, она вцепилась в протянутые

ей туфли. Если до этого они оба и были пьяны, то сейчас опьянение прошло. Холодный ветер их протрезвил.

Он попытался вспомнить имя девочки — то ли Фэй, то ли Фэйт, и уже собрался что-то ей сказать, как вдруг самый ее вид стал ему противен. Если бы она начала его благодарить, он бы ее просто придушил. К счастью, она не проронила на слова. Глядя в пустоту широко раскрытыми немигающими глазами, она надела туфли и разгладила юбку. Их верхняя одежда — его новая кожаная куртка и что там было на ней — осталась в доме. Тут дверь распахнулась, и на порог выбежали две девчонки, одна с ее пальто, другая — с сумочкой.

— Притти-Фэй, что случилось?

Ромен развернулся и двинулся прочь.

— Что с тобой, девочка моя? А ты! Ты что с ней сделал?

Тот продолжал шагать.

— А ну вернись! Он тебя обидел? А кто? Кто? Что с твоими волосами? На-ка, надень пальто, Притти-Фэй! И скажи хоть что-нибудь!

Он слышал их злобные встревоженные крики, бившие по ушам, как перезвон медных тарелок, словно аккомпанемент короткому и хлесткому, как визг трубы, слову, которым Тео обозвал его:

хуже прозвища не придумаешь! Одно-единственное слово, которое звучало, повторяемое эхом, и уж коли оно вырвалось, его теперь можно заглушить только выстрелом. А иначе не покончить с ним — оно прилепится к нему на всю жизнь.

Последние три дня над ним издевались все кому не лень. Всех своих так легко завоеванных друзей — они дружили уже четыре месяца — он растерял. И теперь, встречаясь глазами с любым из шестерых, не считая Фредди, он словно бросал им вызов или приглашение, и даже когда он не смотрел на них и не ловил их взгляды, в том трубном визге слышалось его имя. Они собирались без него у школьной ограды и как по команде вставали из-за столика в забегаловке «Патти», если он садился рядом. Даже самые падкие на флирт девчонки почуяли его новый статус изгоя, как будто его одежда и обувь вдруг стали позорными: футболка слишком белой, штаны слишком отутюженными, а кроссовки завязаны сикось-накось.

На следующий день после той вечеринки, никто не помешал ему появиться на баскетбольной площадке, но, когда он вступал в игру, никто не передавал ему мяч, и если он перехватывал чужой пас, ему приходилось, в какой бы точке

площадки он ни находился, самому забрасывать мяч в корзину, потому что никто из игроков не выражал готовности принять от него пас. Все опускали руки и просто смотрели. И стоило ему послать кому-то мяч с отскоком от земли, никто его не ловил, и в воздух взлетал трубный плевок *того* слова, и было непонятно, кто его выкрикнул. В конце концов ему сделали подножку, после чего все молча ушли. А Ромен так и остался сидеть на площадке, тяжело дыша, готовый ринуться в драку с любым, при этом понимая, что стоит ему ответить на грубость, на подножку, на выкрикнутое оскорбление, это будет выглядеть как его очередная попытка вступиться за ту девчонку. Которую он не знал, да и не желал знать. Если бы он дал обидчику сдачи, ему бы пришлось драться не за себя, а за Притти-Фэй, чем бы он и доказал, что между ними есть какая-то связь — а ведь это не так! Будто он и она оказались оба привязанными к той кровати, будто кто-то силой заставил их обоих раздвинуть ноги.

Лукас Брин, один из белых мальчишек, чья точность бросков в корзину вызывала всеобщую зависть, в одиночестве водил мяч в углу площадки. Ромен поднялся и отправился составить ему пару, но вовремя осознал, что в репертуаре его

врагов есть еще одно обидное слово. И он прошел мимо Лукаса, пробурчав чуть слышно: «Привет!»

На второй день он чувствовал себя еще более несчастным и одиноким. Фредди отдал ему забытую в том доме куртку со словами: «Слышь, мужик, не парься!» — но больше не сказал ничего и быстро ушел. А после того как ему через окно школьного автобуса помахали две подружки Притти-Фэй, те самые, которые вынесли ей на крыльцо сумочку и пальто, он стал добираться до школы рейсовым автобусом. Он без колебаний смирился с неудобством шагать две мили пешком до и от остановки, чтобы избежать возможности снова увидеть Притти-Фэй. Он ее так и не увидел. Как не увидел ее больше никто.

На третий день его избили. Все шестеро, включая Фредди. Избили умело. Нанося удары везде, кроме лица, на всякий случай — а вдруг он еще и стукач, который с радостью наябедничает, кто ему разбил губу или поставил фингал под глазом. Ведь если начнутся расспросы дома, этому плаксе хватит храбрости указать своим дрожащим пальчиком на них. На всех шестерых. Ромен дрался классно. Поставил одну или две шишки, засадил коленом в пах, порвал чью-то рубашку, пока ему не заломили руки за спину в попытке сломать

ребра и одновременно надавить на живот, чтобы вызвать рвоту. Последнее им почти удалось, но тут проезжавшая мимо машина несколько раз просигналила. Драчуны бросились врассыпную, вместе с ними и Ромен, который бежал, согнувшись и обхватив живот, больше опасаясь, что к нему придут на помощь, чем упасть без сознания в перепачканных блевотиной джинсах. Его вырвало за кустом мимозы в рощице позади закусочной «Патти». Увидев извергнутые на траву остатки приготовленного бабушкой завтрака, он задумался, забудется ли когда-нибудь его позор. Его не обидели ни издевки Тео, ни презрение Фредди, он заслужил и то, и другое, но он просто не мог понять, что с ним тогда случилось, почему он в тот момент дал слабину и почему его сердце бешено забилось от сострадания к раненому зверьку, за мгновение до того казавшемуся ему желанной добычей, в которую он был готов вгрызться. Если бы он нашел ее на улице, его реакция была бы точно такой же, но когда это произошло при всех, на глазах у его друзей, вместе с которыми и он заволок ее в ту комнату, — вот дерьмо! И что заставило его отвязать ее, прикрыть? Боже ты мой! Прикрыть ее покрывалом! Поднять на ноги и вывести оттуда! Что?

Маленькие, похожие на варежки руки? Размеренно содрогавшиеся над ней голые зады парней — один за другим, один за другим? Гниловатый овощной запах, смешавшийся с грохочущей из-за двери музыкой? Когда он, обняв девочку за плечи, выводил ее из комнаты, он был все еще возбужден, но эрекция исчезла, как только они вышли вдвоем на холод. Что же его заставило так поступить? Или точнее — кто?

И он знал кто. Это был настоящий Ромен, который обломал кайф крутому, опасному и отвязному парню. Фальшивого Ромена, нависшего над чужой кроватью с незнакомой девчонкой, перехитрил Ромен настоящий, который и был там главный и теперь заставил его, лежащего в собственной кровати, сунуть голову под подушку и пролить девчачьи слезы. Но в ушах по-прежнему звучал визг трубы.

3. Незнакомка

Поселение — по сравнению с домом номер один по Монарх-стрит — как другая планета. Хаотично натыканные лачужки расползлись по склону горы и в долине еще во времена Первой мировой войны. Никто не использует этого названия — ни почтовая служба, ни бюро по переписи. Однако полицейские штата прекрасно его знают, и если кое-кто из тех, кто когда-то работал в старом управлении соцзащиты, его слышал, то сотрудники нового окружного управления социального обеспечения — нет. Время от времени у учителей школы десятого района появляются ученики из тамошних семей, но и они не употребляют название «Поселение». «Деревенские» — вот как величают этих странных необучаемых детей. Чтобы не раздражать обычных учащихся из приличных фермерских хозяйств, школьным методистам пришлось придумать какой-никакой безобидный термин, чтобы как-то отличать этих детей, не настраивая против себя их родителей. Термин сочли приемлемым, хотя ни один родитель из Поселения ни разу не делал официальных

запросов, не высказывал своего мнения, не давал разрешений и не подавал жалоб. Записки или извещения, переданные в вечно немытые руки их чад, никогда не возвращались и не получали ответа. Деревенские посещали занятия несколько месяцев, пользовались общими учебниками, одалживали ручки и карандаши, но все делали нарочито втихомолку, точно их сюда прислали проверять качество образования, а не получать его, выуживать, а не предоставлять информацию. В классе они держались тихо, ни с кем не вступали в беседы — отчасти по собственному почину, а отчасти потому, что одноклассники целенаправленно избегали общения с ними. Деревенские славились внезапными вспышками агрессии — и дрались остервенело и жестоко. Все знали историю про то, как однажды в пятидесятых директор школы смог найти, а потом и посетить дом одного из деревенских по имени Отис Рик. Этот Отис дал в глаз мальчишке на школьной площадке и то ли не понял, то ли проигнорировал извещение об отчислении, засунутое в карман его рубашки. И продолжал заявляться в школу каждый день, и каждый день на его рукавах видели неотстиранную кровь его жертвы. О том официальном визите, имевшем целью заявить

о нежелательности присутствия Отиса в школе, известно немного — кроме одной яркой и красноречивой детали. Когда директор школы покинул дом Риков, ему пришлось пересечь всю долину пешком, поскольку ему не дали ни времени, ни возможности сесть в свою машину. А «Десото»[20] был отбуксирован обратно в город полицейскими штата, потому что его владелец ни в какую не соглашался лично вернуться за ним.

Совсем древние старики, чьи молодые годы пришлись на Великую депрессию и которые по сию пору называют эту часть округа Поселением, могут в цветах и красках поведать любому желающему историю его обитателей. Но поскольку их мнение мало кого интересует, жители Поселения интерпретировали ее на свой лад: вот почему их, дремучих и презренных, просто терпят, боятся и стараются с ними не связываться. Так повелось с 1912 года, когда джутовую фабрику забросили, и те, кто успел уехать, и те, кто не успел (либо черные, у кого не было никаких надежд, либо белые, у которых не было никаких перспектив), остались там жить, ничем не занимаясь, заключая между собой браки — ну, типа того — и ломая

[20] Примечания: 20

Марка автомобиля, выпускавшегося концерном «Крайслер» в 1928–1961 гг.

голову над тем, как бы выжить до следующего дня. Они строили себе дома из чужой рухляди или делали пристройки к лачугам, оставшимся после рабочих джутовой компании: кто сарайчик, кто комнатенку. Так и выросли на горном склоне и в долине под горой жмущиеся друг к дружке домики — в две комнатки с плитой. Обитатели лачуг использовали воду из ручья и дождевую воду, пили коровье молоко и домашнее пиво, ели лесную дичь, яйца и то, что росло в огороде, а если зарабатывали что-то на работах в поле или на кухне, покупали сахар, соль, растительное масло, сладкую газировку, корнфлексы, муку, сушеные бобы и рис. Если же заработков не было — воровали.

Несмотря на вполне мирное название, Поселение сотрясали конфликты по поводу преданности этому месту и правил общежития, и единственным преступлением тут считался отъезд. Одну такую измену совершила девушка со сросшимися пальцами ног, которую звали Джуниор. Ее мать Вивиан намеревалась дать ей имя сразу после рождения. Но спустя три дня после трудных родов, когда к ней наконец вернулось сознание и она была готова принять решение, оказалось, что отец новорожденной уже назвал малютку

Джуниор — то ли в честь себя, Этана Пейна-младшего[21], то ли отдав дань давней мечте о собственном ребенке, ибо хотя у Вивиан уже было четыре мальчика, ни один из них не был от Этана. В конце концов Вивиан выбрала-таки для дочки имя, и успела назвать им ее раз или два, прежде чем Этан вернулся в отцовский дом. Но имя Джуниор прилепилось. А большего и не требовалось, пока она не поступила в школу десятого района, где у нее спросили фамилию. Джуниор Вивиан, промямлила она. Заметив, как учительница прикрыла ладонью улыбку, девочка почесала локоть и только тогда сообразила, что вполне могла бы назваться Джун.

Девчонок из Поселения отдавать в школу не любили, но каждый из дядьев, кузенов и сводных братьев Джуниор какое-то время проучился в местной школе. В отличие от них она редко отлынивала от учебы. Дома, оставшись без присмотра, она чувствовала себя как одна из стаи здешних собак. Всего их было пятьдесят, и животные то сидели на короткой цепи, то свободно бегали по Поселению. Если собаки не ели и не грызлись, они спали, привязанные к деревьям или

---

[21] Примечания: 21
Джуниор (*англ.*) — младший.

свернувшись калачиком под хозяйской дверью. Предоставленные сами себе, охотничьи псы скрещивались с овчарками, а колли — с лабрадорами. К 1975 году, когда родилась Джуниор, возникла диковинная, ни на что не похожая и удивительно красивая порода, которую сразу же узнавал издалека любой, кто знал их как «собак из Поселения» — приученных отгонять непрошеных гостей, а еще лучше — охотиться.

В течение многих лет Джуниор тосковала по отцу и без устали упрашивала мать отвезти ее к нему повидаться.

— Может, хватит? — повторяла Вивиан, пока однажды не отрезала: — Он в армии. Так я слышала.

— А когда он вернется?

— Да он никчемный, малышка. Никчемный. Иди играй!

Она уходила, но продолжала выглядывать на дороге высокого красивого мужчину, назвавшего ее в свою честь, чтобы показать свое доброе отношение к ней. Просто ей надо подождать.

Устав наконец и от собак, и от матери, будучи сообразительнее и хитрее своих братьев, опасаясь дядьев и относясь без восторга к их женам, Джуниор с радостью пошла в местную школу

— прежде всего, чтобы быть подальше от Поселения, а уж потом ради самой учебы. Она была первой из деревенских, кто заговорил в классе и делал домашние задания. Одноклассницы ее сторонились, а тем немногим, кто попытался посеять семена будущей дружбы, быстро пришлось сделать выбор между деревенской оборванкой, ходившей в одном-единственном платьишке, и искусной местью одноклассниц, в которой маленькие девочки знают толк. Джуниор всегда проигрывала, но вела себя так, будто отказ от дружбы был ее личной победой, и улыбалась, когда видела, что несостоявшаяся подруга прибилась обратно к своему стаду. А подружиться ей удалось с мальчиком. Как решили учителя, это произошло оттого, что в столовой он угощал ее кексами и пряниками, так как обед самой Джуниор всегда состоял из жалкого яблока или пустого сэндвича с майонезом, сунутого в карман ношеной женской кофты, в которой она появлялась в классе. Ученики же были уверены, что причина его щедрости — в том, что после школы она позволяет ему заниматься с ней всяким непотребством в лесном овражке, о чем ему и было сообщено. Но это был гордый мальчик, сын менеджера разливочного цеха, который мог запросто

нанимать и увольнять их родителей, о чем им и было сообщено в ответ.

Звали его Питер Пол Фортас, и после одиннадцати лет жизни, когда все его стали звать Пи-Пи, он сделался заносчивым и равнодушным к общественному мнению. Питера Пола и Джуниор не интересовало, что у того и другого под одеждой. Джуниор увлеченно слушала его рассказы про бочонки с сиропом для кока-колы и про автомат для закрывания бутылок. А Питер Пол хотел узнать, правду ли говорят про бурых медведей, живущих в окрестных горах, и отчего змеи нападают на телят — из-за запаха ли телят, или молока. Они обменивались информацией, как букмекеры перед скачками, опуская бесполезные подробности и сразу переходя к сути дела. Однажды, правда, он поинтересовался, цветная ли она. Джуниор ответила, что понятия не имеет, но обязательно спросит и все ему расскажет. Но он сказал, что это не важно, потому что ему в любом случае не разрешают приглашать домой гоев. А ему не хочется ее обижать. Она кивнула: ей пришлось по душе серьезное милое слово, которым он ее обозвал.

Ради нее он совершал мелкие кражи: приносил ей то шариковую ручку, то пару носков, то желтый берет для ее наскоро расчесанных

пальцами курчавых волос. А когда на Рождество она подарила ему детеныша щитомордника в стеклянной банке, а он ей — большущий набор цветных карандашей, трудно было сказать, кто из них больше обрадовался. Но щитомордник — это же просто водяная змея, но именно из-за него их дружбе пришел конец.

Среди многочисленных дядьев Джуниор выделялись бездельники подростки, чьи мозги были изувечены унылостью существования и в чьей жизни жестокие мордобои чередовались с коматозным состоянием. Они не поверили, что засунутая в бутылку змейка нужна ей для школьных опытов — так объяснила им Джуниор, отвечая на вопрос: «Ты чой-то там унесла в банке, а, малая?» А если они и поверили, сам ее поступок казался им невыносимым оскорблением. Нечто, по праву принадлежащее Поселению, она перенесла в юдоль невезения настолько безрадостного, что они воспринимали это не просто как невезение, а как триумф природного света над институциональной тьмой. А может, им просто надоело прикидываться спящими или кому-то из них не хватило пива накануне. Как бы там ни было, наутро после Рождества дядья чуть свет продрали глаза и принялись искать, чем бы

развлечься.

Джуниор еще спала, положив голову на грязную подушку с вышитой надписью «Господи, спаси» и завернувшись в одеяло, которое служило ей и матрацем. Подушка, подарок жены одного из дядьев, которая вытащила ее из мусорного бака своего тогдашнего работодателя, дарила спящей приятные сны. А прижатые к груди карандаши раскрашивали их яркими красками. И ее сон был настолько разноцветным, что одному из дядьев пришлось несколько раз пнуть ее в зад носком башмака, прежде чем она проснулась. Ее вновь начали расспрашивать про змею. Раскрашенные цветными карандашами сны медленно растаяли, пока Джуниор пыталась понять, что им надо. Они ведь и сами не знали, какого хрена подожгли сиденье в машине, вместо того чтобы просто его снять. Или почему им так важна водяная змея. Просто им хотелось вернуть щитомордника в его законное место обитания.

Из всех угроз о том, что с ней сделают, если она не вернет змею, самыми неприятными были «надерем твою маленькую задницу» и «отдадим тебя Вошу». Эту последнюю угрозу она слышала много раз, и возможность того, что это сейчас и произойдет — ее отдадут старику из долины, ко-

торый любил бродить по окрестностям, зажав в кулаке свой срам и распевая церковные гимны, — заставило ее вскочить с пола и, увернувшись от протянутых к ней рук, юркнуть за дверь. Дядья побежали за ней, но у нее были быстрые ноги. Псы, сидевшие на цепи, рычали ей в спину, а те, что не были на привязи, помчались следом. Выбежав на тропинку, девочка увидела Вивиан, возвращавшуюся из нужника.

— Ма! — позвала она.

— Оставьте ее в покое, жалкие хорьки! — закричала Вивиан. И перешла на бег, но очень быстро утомилась и бессильно швырнула камень, метя в спины своим младшим братьям. — Отстаньте от нее! Вернитесь, вонючие скунсы! Со мной не хотите иметь дело?

Злобные и искренние, если не сказать задорные, проклятья музыкой звучали в ушах беглянки. Босая, прижимая к груди коробку с цветными карандашами, Джуниор оставила улюлюкающих дядьев с носом, схоронившись за кустами и, дав деру, наконец смогла оторваться от них. Она остановилась только в лесу, где мечтал бы оказаться любой дровосек. Пеканы исполинского размера, каких не видывали в здешних местах аж с двадцатых годов. Клены, растопырившие по пять-шесть

толстенных веток. Рожковые деревья, масляные орехи, белые кедры, тополя… Здоровые деревья вперемешку с больными. На некоторых стволах она заметила огромные черные лишайники — верные признаки болезни. А другие выглядели полными жизни, но лишь до тех пор, пока легкий игривый ветер не начинал тормошить их листву. Тогда стволы с треском переламывались и падали, точно сраженные инфарктом старики, и из трещин сыпалась медная и золотистая труха.

Перейдя с бега на шаг, Джуниор оказалась в залитых солнцем зарослях бамбука, росшего вперемешку с виргинским вьюнком. Крики и улюлюканье затихли вдали. Она подождала немного, потом взобралась на яблоню, откуда открылся вид на склон горы и часть долины. Дядьев не было видно — только просвет между деревьев, отмечавший русло лесного ручья. А еще дальше виднелась дорога.

Солнце уже стояло высоко, когда она добралась до обочины. Она не обращала внимания ни на царапины на коже, ни на застрявшие в волосах веточки, но ей было до слез жалко семи карандашей, которые сломались во время бегства, а она даже не успела еще ими попользоваться. Вивиан не могла защитить ее от Воша или дядьев, и она

решила найти дом Питера Пола, подождать его где-нибудь поблизости и — что? Ну, он бы ей как-нибудь помог. Но она ни за что на свете не попросила бы вернуть ей детеныша щитомордника.

Она вышла на дорогу и не успела пройти и пятидесяти шагов, как вдруг услыхала за спиной тарахтенье грузовичка, в кузове которого сидели ее дядья. Она отпрыгнула влево, конечно, а не вправо, но они предвидели ее маневр. Передний бампер сшиб девочку, а заднее колесо размозжило ей пальцы на ноге.

Потом была тряская поездка в кузове, теплое местечко на лежанке Вивиан, вкус виски на языке, запах камфары в носу — после чего она спала как убитая, пока боль не стала совсем невыносимой. Джуниор открыла глаза, почувствовала озноб и такую ломоту во всем теле, что она не могла вздохнуть полной грудью — только заглатывала и выдувала воздух по капельке. Так она пролежала несколько дней не вставая, сначала не в силах, а потом и не желая ни плакать, ни заговорить с Вивиан, которая уверяла ее, что она должна быть благодарна дядьям за то, что те нашли ее лежащей на дороге. Ее маленькую Джун, мол, сбила машина, за рулем которой, ясное дело,

сидел какой-то городской ублюдок, возомнивший о себе невесть что, и после того, как наехал на девчушку, он даже не остановился и не проверил, жива ли та, не говоря уж о том, чтобы подвезти ее до дома.

Джуниор молча наблюдала, как распухает ступня, а покрасневшие раздробленные пальцы становятся синими, потом черными, потом мраморно-бледными. А потом, заживая, пальцы срослись. Коробка с карандашами куда-то делась, и рука, что раньше сжимала коробку, теперь не выпускала нож, приготовленный ею для Воша, или для дяди, или для любого, кто попытается помешать ей совершить обычное для Поселения преступление: сбежать отсюда навсегда. Избавить себя от людей, которые погнались за ней на машине, сбили, а потом врали об этом, да еще приговаривали, будто ей еще повезло, и для которых водяная змея была ценнее маленькой девочки. Через год она сбежала. А еще через два она была накормлена, вымыта, одета, училась и горя не знала. За решеткой.

Джуниор исполнилось одиннадцать, когда она сбежала из дома и многие недели шаталась, не привлекая ничьего внимания. Потом наконец ее заметили — когда она стащила игрушечного

солдата из универмага «Все за доллар», а после того не захотела его вернуть, и ее задержали, отправили в приют, где она покусала женщину, попытавшуюся отобрать у нее солдата, и наконец после того, как она отказалась предоставить о себе какую-либо информацию, кроме имени, ее определили в исправительную колонию, где записали как «Джуниор Смит», и она оставалась «Джуниор Смит» до тех пор, пока власти штата не отпустили ее на все четыре стороны, и она не придумала себе фамилию, добавив к имени матери «и» для эффекта.

Образование, полученное ею в колонии, было только отчасти школьным, но в основном — нет. Оба вида образования отточили ее природную хитрость, которая и помогла ей попасть в большой шикарный дом на Монарх-стрит, где не было хмурых теток в униформе, меривших шагами тускло освещенные коридоры и распахивавших когда им вздумается двери, чтобы устроить шмон, и где ей не пришлось спать в душной камере с сопящими и храпящими на все лады соседками. Джуниор попала куда надо, и к тому же здесь был *он*, всячески давая ей понять, что именно ее-то здесь и ждали все это время. Как только она заметила портрет незнакомого мужчины на стене, то

сразу поняла: вот ее дом! *Он* снился ей в первую ночь, она стояла у *него* на плечах, когда *он* нес ее через сад, где ветки сгибались под тяжестью спелых зеленых яблок.

На следующее утро за завтраком — грейпфрут, яичница-болтунья, кукурузная каша, тосты и жареный бекон — Кристин держалась уже не так враждебно, как накануне, хотя все еще была настороже. Джуниор пыталась ее развеселить, отпуская шуточки в адрес Хид. Она, как говорится, еще плохо ориентировалась на этой местности и не знала, в каком направлении двигаться дальше. Только после завтрака, вернувшись в спальню Хид, она разобралась в ситуации. Подарок судьбы был выбран ею безошибочно.

Стоя у окна в нелепом красном костюме, Джуниор снова стала наблюдать за мальчишкой во дворе, пока Хид копалась в небольшом комоде. Чуть раньше она увидела, как Кристин продефилировала по подъездной дорожке, а паренек остался один во дворе, дрожа на пронизывающем ветру и держа в руке ведро. Теперь он утер нос тыльной стороной ладони, после чего обтер руку о джинсы. Джуниор улыбнулась. И все еще улыбалась, когда Хид к ней обратилась.

— Вот она! Я ее нашла! — Она помахала фо-

тографией в серебряной рамке. — Я держу все ценные вещи под замком в разных местах и иногда забываю где.

Джуниор отошла от окна, опустилась на колени рядом с комодом и взглянула на фотографию. Свадьба. Пять человек. И жених глядит вправо на женщину с розой в руке, которая устремила в объектив застывшую улыбку.

— Она похожа на женщину с кухни внизу — на Кристин, — заметила Джуниор, ткнув пальцем в фото.

— Нет, это не она, — возразила Хид.

Женщина с розой держала жениха под руку, и хотя он смотрел на нее, свободную руку он положил на голое плечо своей пигалицы-невесты. Хид утонула в не по размеру огромном свадебном платье, ниспадавшем до пола, цветки флердоранжа в ее руке уныло поникли. Слева от Хид стоял плутоватого вида красавец, который, повернув голову влево, улыбался женщине, чьи сжатые в кулачки руки беззвучно сообщали не только об отсутствующем букете, но и еще кое о чем…

— Я ведь не сильно изменилась, правда? — спросила Хид.

— А почему ваш муж смотрит не на вас, а на другую женщину?

— Наверное, пытается ее ободрить. Вот такой он был человек. Это в его духе…

— А это подружка невесты? — спросила Джуниор, указывая на женщину с крепко сжатыми кулачками. — Она тоже выглядит не слишком радостной.

— Она и не радовалась. Вообще свадьба была не из веселых. Билл Коузи был завидный жених, понимаешь. И очень многие женщины мечтали оказаться на моем месте.

Джуниор снова поглядела на фотографию.

— А кто этот мужчина?

— Наш шафер. Очень известный музыкант… в свое время. Ты слишком молода, чтобы знать его имя.

— А вы пишете про всех этих людей?

— Да. О некоторых. В основном о Папе — это мой муж — о его семье, его отце. Ты представить себе не можешь, какие это были гордые люди, какие благородные… даже во времена рабства…

Джуниор перестала ее слушать — и не без причины. Во-первых, она уже догадалась, что Хид вовсе и не собирается писать книгу, ей просто хочется поболтать, хотя зачем она вознамерилась платить за то, чтобы ее кто-то выслушал, Джуниор еще не поняла. А во-вторых, она думала

о дрожавшем от холода пареньке под окном. Она слышала слабый стук лопаты, которой он сгребал тающий снег и сбивал лед с дорожек.

— Он живет где-то тут недалеко?

— Кто?

— Тот паренек во дворе.

— А, это мальчуган Сэндлера. Он выполняет мои поручения, наводит порядок снаружи. Хороший мальчик.

— Как его зовут?

— Ромен. Его дед дружил с моим мужем. Они вместе ездили на рыбалку. У Папы было две яхты, понятно? Одну он назвал в честь первой жены, а другую — в мою честь.

Лет шестнадцать, а может, постарше. Красивая шея…

— …Он возил важных людей на рыбалку в открытое море. Шерифа, его все звали шеф Силк, — это был Папин лучший друг. И знаменитых певцов, руководителей оркестров. Но он брал и Сэндлера, хотя тот был простой местный житель, он работал на консервном заводе, как и все тогда. Папа мог с легкостью общаться с любыми…

Ему вряд ли понравится этот старушечий костюм, который на мне сейчас…

— …Люди его просто обожали, и он был ко всем добр. Конечно, по завещанию он оставил в основном все мне, хотя если послушать некоторых, то жену вообще не следует обеспечивать…

Похож на тех ребят из мужского блока, которые играли в баскет, а мы глазели на них сквозь проволочную ограду, провоцируя их, а они глазели на нас, обещая нам…

— Мне просто повезло. И я это знаю. Моя мать поначалу была против этого брака. Папин возраст и все прочее. Но мой отец, когда нас увидел, сразу понял, что нас связывает настоящее чувство. И смотри, чем все обернулось. Без малого тридцать лет абсолютного блаженства…

Охранники просто сгорали от зависти. Колошматили ребят, а все оттого, что мы на них глазели, с жадностью, как толпа болельщиков, смотрели, как под их пропотевшими трениками набухают холмики…

— …Ни он, ни я никогда не смотрели на сторону. А отелем управлять, уж ты поверь мне, — это не хаханьки. Все на мне держалось. Ни на кого положиться нельзя было. Ни на кого!

Шестнадцать, ну, может, чуть постарше. И в баскетбол играет. Сразу видно.

— Ты вообще слушаешь? Я же делюсь с тобой

важной информацией. Тебе бы надо все это записывать!

— Я и так запомню.

Через полчаса Джуниор снова переоделась в свой кожаный жакет. Увидев ее на подъездной дорожке, Ромен сразу подумал то же, что и дедушка, — и невольно ухмыльнулся.

Джуниор это оценила. Потом в точности, как ребята из мужского блока, он нахохлился и стал безразличным — готовым быть отвергнутым, готовым огрызнуться. Но Джуниор не дала ему времени опомниться — сразу рванула с места в карьер.

— Только не говори, что ты трахаешь и этих старушек тоже!

Тоже!

Волна смущения, окатившая Ромена, смешалась с всплеском гордости. Она предположила, что он способен на *это*. Что у него *это* было уже много раз, что он может выбирать женщину, какую захочет, — и даже парами, Тео, парами!

— Это они тебе сказали?

— Нет, но могу поспорить, они об этом думают.

— Ты их родственница?

— Еще чего! Я теперь тут работаю.

— И что делаешь?

— То да се.

— Что то и что се?

Джуниор оценила взглядом свой подарок судьбы. Она поглядела на лопату в его руках. Потом на его промежность, потом на лицо.

— У них там есть комнаты, куда они никогда не заходят. С диванами и тэ дэ.

— Да ну?

Ох уж эта молодежь, прости господи! Это у них по-прежнему называется влюбленностью? Волшебный топор, который одним взмахом отрубает остальной мир, оставляя лишь пару влюбленных, трепещущих от возбуждения? Как это чувство ни называй, оно перемахнет через любое препятствие, захватит самый большой стул, самый лакомый кусок, установит свои правила везде, куда бы они ни направили свои стопы, хоть в особняк, хоть на болото, и эгоизм влюбленности — вот ее красота. Прежде чем я замолчала и стала мурлыкать себе под нос, повидала я всякие спаривания. Обычно этих любовных соплей-страстей хватало на две ночи, хотя пыжились растянуть на все лето. Некоторые, те, кого затягивает любовный водоворот, заявляют исключительные права на настоящую «любовь», хотя потом все тонут в пене. Люди без вообра-

жения подкармливают влюбленность сексом — этим клоуном любви. Им невдомек, что бывают настоящие виды любви, лучшие виды, когда с малыми потерями все остаются в выигрыше. Правда, требуется интеллект, чтобы так любить — без надрыва, без реквизита. Но мир — это же та еще показуха, может, поэтому люди вечно стараются переигрывать, выволакивают свои чувства напоказ, на всеобщее обозрение, лишь бы доказать, что и они умеют выдумывать всякие небылицы, красивые и пугающие — вроде драки не на жизнь, а на смерть, и прелюбодеяний, и поджогов, устраиваемых с отчаяния. И, разумеется, терпят неудачу. Мир всякий раз их одолевает. И пока они заняты своей показухой, пока роют другим могилы, вешаются на кресте, бегают как полоумные по улицам, зеленые вишни тихо-спокойно краснеют, устрицы вымучивают из себя жемчуг, а дети пытаются ловить дождинки губами, думая, что капли холодные, а они не холодные, а теплые и пахнут ананасом, становясь все увесистее, и наконец падают быстро и тяжело, так что их и не поймать. Бедные купальщики торопятся доплыть до берега, а самые выносливые ждут, когда засверкают серебряные стрелы молний. Бутылочно-зеленые облака за-

волакивают небо, толкают дождь вглубь суши, где пальмы притворяются испуганными под порывами ветра. Женщины бросаются врассыпную, прикрывая волосы ладонями, а мужчины нагибаются пониже, прижимая женские плечи к своей груди. Я тоже бегу, наконец. Я говорю «наконец», потому что веду себя как хороший добрый ураган. Хотела бы я работать на канале погоды, бежать, нагнув голову, навстречу ветру, пока законники орут в свои мегафоны: «Давайте быстрее!»

Может, это оттого, что я родилась в грозу? В то утро только рыбаки в море да дикие попугаи в лесу сразу смекнули, что дело плохо. Моя мать, выбившаяся из сил от долгого ожидания запоздалых родов, вдруг вскочила с кровати и решила развесить белье. И лишь потом она сообразила, что ее опьянил чистый озон, которым наполнился воздух перед грозой. Когда белья оставалось еще полкорзины, она заметила, как вокруг стало черным-черно, а тут и я начала проситься наружу. Она кликнула моего отца, и они вдвоем приняли меня под проливным дождем. Можно сказать, то, что я вынырнула из околоплодных вод прямехонько под дождь, сыграло важную роль в моей судьбе. И еще, полагаю, немаловажно то, что я впервые увидела мистера Коузи, когда

он стоял в море и держал на руках Джулию, свою первую жену. Мне было пять, ему — двадцать четыре, и до той поры я ничего подобного в жизни не видала. Она закрыла глаза, ее голова покачивалась на волнах, голубая ткань ее купального костюма то вздымалась, то опадала, подчиняясь ритму волн и силе его объятий. Она подняла руку, тронула его за плечо. Он перевернул ее на грудь и направился с ней к берегу. Я тогда решила, что слезы навернулись мне на глаза от солнца, а не от явления из моря этой бездонной нежности. И через девять лет, услыхав, что он ищет кухарку, я со всех ног помчалась к его дверям.

На вывеске снаружи осталось лишь «Кафе…рий Масео», но вообще-то это была моя закусочная. Не на словах, а на деле. Я готовила для Билла Коузи без малого пятьдесят лет, до самого дня его смерти, и цветы с его похорон еще не завяли, когда я ушла от его женщин. Я и так сделала для них все, что могла. Настала пора уйти. Только чтобы не помереть с голоду, я занялась стиркой, а иначе не взялась бы. Но когда у тебя в доме проходной двор: клиенты то приходят, то уходят, — это невыносимо, и я вняла просьбам Масео. Он прославился своей фирменной жареной рыбой (он жарил ее до черноты, до хрустящей

корочки, а внутри она оставалась нежнейшей и сочной), но вот его гарниры всегда оставляли желать лучшего. О, какие чудеса я вытворяю с окрой[22] *и сладким картофелем, а чего стоит мое жаркое из гороха с картошкой, да и вообще почти все, что я готовлю, а чего только я ни готовлю, всех сегодняшних невест, только и умеющих что покупать еду на вынос, может вогнать в краску стыда моя стряпня — если бы у них была его хоть капля, да ее нет. Когда-то в каждом доме был свой повар — мастер, умеющий делать тосты на открытом огне, а не в этих алюминиевых коробках, или взбивать соус ложкой, а не миксером, кто знал секрет пышного кекса с корицей. Но теперь никто ничего не знает. Люди ждут Рождества или Дня благодарения, чтобы пару раз в году уважить свою кухонную утварь. А в остальные дни они рады приходить в кафетерий Масео да сокрушаться, что я упала замертво у плиты. Когда-то я весь путь от дома до работы проходила пешком, но потом мои ноги стали опухать, и пришлось мне уволиться. И вот проходит несколько недель, я с утра до вечера смотрю телевизор и лечу ноги, и в один прекрас-*

---

[22] Примечания: 22
Окра (бамия) — овощная культура.

ный день Масео стучится в мою дверь и говорит, что устал видеть пустые столики в своем кафетерии. Говорит, что готов каждый день гонять свою машину от Ап-Бич до Силка и обратно, если только я снова его спасу. Я ему говорю: дело не только в том, что я не могу ходить пешком, я же еще не могу долго стоять. Но и на это у него был план! Он смастерил для меня высокий стул на колесиках, так чтобы я могла перемещаться от плиты к раковине и разделочному столу. Ноги мои потом зажили, но я так привыкла к колесному транспорту, что уж не смогла от него отказаться.

Все, кто помнит мое настоящее имя, уже мертвы или уехали, и никто больше не интересуется, как меня зовут. Даже малые дети, у которых времени немерено, относятся ко мне как к мертвой и больше обо мне не спрашивают. Кто-то думал, что я Луиза или Люсиль, потому что когда-то видели, как я брала у швейцара карандаш и подписывала свой конверт с церковным пожертвованием одной буквой «Л». А другие, слыша, как ко мне обращались или говорили обо мне, считали, что меня зовут Эл — сокращенное от Элеоноры или Эльвиры. Все они ошибаются. Во всяком случае, все устали ломать голову.

Как устали называть кафетерий Масео просто «Масео» или подставлять недостающие буквы в название. Теперь он известен как кафе «Рий», и как любимый завсегдатай, которого задарма доставляют до места, я до сих пор там раскатываю на своем стуле.

Девушки обожают это заведение. Цедя ледяной чай с гвоздикой, они сплетничают с подружками, обсуждают, что он сказал да что он сделал, и гадают, что он имел в виду. Типа «он три дня мне не звонил, а когда я ему позвонила, ему сразу же приспичило встретиться! Ну вот видишь! Он бы так не сказал, если бы не хотел быть с тобой. О, перестань! Когда я туда приехала, у нас вышел долгий разговор, и он вообще впервые меня выслушал. Ну, конечно. Почему нет? Ему надо было просто дождаться, когда ты заткнешься, и тогда-то он смог запустить в работу свой язык. А я думала, он встречается с этой… как там ее? Не, они разбежались. Он предложил мне переехать к нему. Сначала подпиши бумаги, дорогая! Мне никто не нужен кроме него! И смотри, никаких общих счетов, слышишь? Ты будешь морского леща?»

Дуры! Но своим присутствием они добавляют остринки обеденным посиделкам и взбадривают

одиноких мужчин за соседними столиками, которые подслушивают их трепотню.

У нас там никогда не было официанток. Все блюда выставлены на подогреваемых паром подносах, и после того как ваша тарелка наполнится, вы идете с ней к кассе, где Масео, или его жена, или один из его бесчисленных сыновей, подсчитывают, на сколько вы набрали еды, и называют окончательную цену. После чего вы можете все съесть тут же или унести домой.

Девушка без нижнего белья — она называет себя Джуниор — частенько сюда заходит. Когда я ее первый раз у нас увидела, то решила, что она из банды мотоциклистов. Сапоги. Кожаная куртка. Копна волос. Масео тоже так и вылупился на нее — даже не сразу смог нацепить крышку на ее стакан кофе. Второй раз она появилась в воскресенье, как раз перед окончанием церковной службы. Она прошлась вдоль прилавка с подносами, осмотрела блюда, и взгляд у нее был точно такой, как у того ребенка в рекламе «Спаси малыша от голода». Я как раз отдыхала у раковины с чашкой горячего бульона и дула на него, прежде чем обмакнуть кусок хлеба. Я видела, как она фланирует взад-вперед, словно пантера какая. Копны волос уже не было. Теперь ее сменил миллион длинных кудель-

ков, смазанных на кончиках чем-то блестящим, на ногтях синий лак, а губная помада — цвета черной смородины. На ней был ее прежний кожаный жакет, но юбка теперь была длинная, и сквозь нее просвечивало все: и комбинашка в крупных красных цветах, едва доходившая до высоких сапог, и срамные места, которыми она щеголяла так же, как этими своими красными георгинами и гвоздиками.

Один из лоботрясов Масео стоял, подперев стенку, и ждал, пока мисс Джуниор соберется с мыслями. Он не удосужился даже сказать ей ни «Здравствуйте», ни «Чем могу помочь?», ни «Вы хотите заказать что-то конкретное?», ни какие-то другие приветственные фразы, какими принято встречать посетителей. А я просто дула на бульон и наблюдала, кто из них первым поведет себя нормально.

Она.

Вероятно, она сделала заказ для себя и подруги, потому что Кристин сама прекрасно готовит, а Хид ничего не стала бы есть в любом случае. Как бы там ни было, девушка взяла три гарнира, два мясных блюда, рисовый пудинг и шоколадный кекс. Мальчишка Масео, его, кстати, зовут Тео, ухмыляясь больше обычного, оторвался от

стены, чтобы наполнить многосекционные пенопластовые контейнеры для заказов на вынос. Он небрежно наложил тушеные помидоры так, что они перевалились через край отсека и красной кляксой размазались по картофельному салату, а потом поддел вилкой кусок жаренного на углях мяса и шмякнул его поверх курицы в подливке. Я так взбеленилась при виде того, как неуважительно Тео обращается с едой, что уронила свой кусок хлеба в бульон, и он там размяк и развалился, словно комок овсянки.

Девушка не отрывала глаз от подносов с готовыми блюдами и ни разу не взглянула на Тео, а тот сверлил ее ненавидящим взглядом. И только когда он отдал ей сдачу у кассы, она посмотрела на него в упор и произнесла:

— Теперь ясно, зачем тебе группа поддержки. В одиночку твой буравчик не фурычит?

Тео бросил ей в спину ругательство, но оно прозвучало жалко в отсутствие слушателей, кроме меня. И еще долго, уже после того как дверь за ней захлопнулась, он продолжал его повторять. Типично. Молодежь даже не умеет пользоваться словами по назначению, потому что у них не так-то и много их в запасе.

Когда пришел Масео сменить сына на раздаче,

прежде чем в кафетерии после церковной службы выстроится очередь, Тео стоял за кассой с отсутствующим взглядом — опять небось мысленно кидал мяч в корзину. Да еще с таким видом, будто ему только что предложили одновременно контракт с «Орландо» и «Уитиз»[23]*. Неплохой способ избавиться от чувства стыда. Во всяком случае, быстрый. У кого-то на это уходит вся жизнь.*

А Джуниор — кого-то она мне сильно напоминает, одну знакомую из местных. Звали ее Красотка. Ну, в молодости, конечно. И очень мне сомнительно, что Джуниор или любая из нынешних прошмандовок могут с ней сравниться — у той был стиль! Мистер Коузи тоже ее знал, хотя спроси у него, он стал бы все отрицать. Только не при мне. Мне мистер Коузи никогда не врал. Какой смысл? Я знала его первую жену лучше, чем он сам. Я знала, что он ее обожал, и знаю, что она стала о нем думать, когда выяснила, откуда все его деньги. Вопреки россказням, которыми он кормил публику, его папаша, кем он вечно хвастался, пробил себе дорогу, работая информатором окружного суда. Он был из тех, на кого полиция могла всегда положиться: он

---

[23] Примечания: 23

Имеются в виду баскетбольный клуб «Орландо мэджик» и популярный бренд сухих завтраков «Уитиз».

им помогал вызнать, где скрывается тот или иной цветной парень, кто втихаря торгует спиртным, кто на чью землю положил глаз, о чем говорят на церковных собраниях, кто за кого агитирует на выборах, кто собирает деньги для местной школы — и всякие прочие сведения, которые очень интересовали законников округа Дикси[24]*. Хорошо зарабатывая, всегда будучи в курсе событий, пользуясь благосклонностью властей на протяжении пятидесяти пяти лет, Дэниел Роберт Коузи всех держал под прицелом своих недобрых серых глаз. Чисто из жажды власти, как все полагали, потому что в жизни он не знал радости, а деньги, которые он получал за свою собачью преданность белым в общем и полиции в частности, не принесли душевного комфорта ни ему, ни его семейству. Белые прозвали его Дэнни-бой. А негры переиначили его инициалы ДРК в кличку Дурак. Он всю жизнь боготворил бумажные деньги и монеты, вечно прятал приличные ботинки от сына и приличные платья от жены и дочерей, пока не умер, оставив после себя сто четырнадцать тысяч презренных долларов. Сын решил потратить свою долю с удовольстви-*

[24] Примечания: 24

Округ Дикси находится на побережье Мексиканского залива, в северо-западной части штата Флорида.

ем, не просто просадить их, а использовать на вещи, которые Дурак проклинал: на развлечения, шикарную одежду, вкусную еду, модную музыку и танцы всю ночь напролет до восхода солнца над хорошим отелем, выстроенным для всех этих радостей. Отца боялись как ночного кошмара, а сын был лучом света. Полицейские покупали услуги отца, сын откупался от полицейских. То, от чего отца с души воротило, сын принимал всей душой. Отец — скупердяй? А сын — транжира! Но щедрость не растопила лед в их отношениях с Джулией. Она происходила из семьи фермеров, которых вечно сгоняли с земли белые землевладельцы и зловредные негры. Она ужаснулась, узнав, что заработанные ее мужем деньги пропитаны кровью. Но ей не пришлось испытывать стыд слишком долго. Она родила и двенадцать лет все ждала, надеясь понять, что природа решила сделать с ее сыном: то ли отдохнуть на нем, то ли расцвести пышным цветом.

Уж не знаю, оправдались ли ее надежды, или она просто потеряла интерес, потому что перед смертью она прошептала напоследок: «Это мой папочка?»

4. Благодетель

Хид опустилась в мыльную пену, привычно опершись большими пальцами о край ванны. Встав на колени, она могла повернуться, сесть и наблюдать, как сиреневая пена поднимается к плечам.

«Долго так продолжаться не может, — подумала она. — Я утону или поскользнусь, и мне не хватит сил опереться о ванну и спастись».

Она надеялась, что готовность Джуниор выполнять любые задания — «Хотите, чтобы я сделала вам укладку, я сделаю. Хотите принять ванну, я вам приготовлю ванну» — было искренним, а не лживым обещанием безработной, жаждущей заполучить теплое местечко. Хид решила проверить ее умение делать прическу, прежде чем обратиться с просьбой помочь ей принять ванну. В последний раз это было в июле — когда она зажала в руке бутылку «Клэрола» и окрасила серебряные корни волос в темно-каштановый цвет. И как это могло произойти, недоумевала она, что у нее, которая никогда не ловила крабов, не разделывала креветок и не вскрывала рако-

вины моллюсков, руки к старости так ослабели и деформировались похуже, чем у работников консервного завода. Растирка «Бен-Гэй», алоэ, «Асперкрем» не помогали, а постоянные купания были ей необходимы, чтобы пресечь незримое воздействие морских существ, до которых она в жизни не дотрагивалась. Так что первыми двумя заданиями для Джуниор будет помощь в окраске волос и в принятии ванны, если, конечно, ей удастся хотя бы ненадолго отвлечь внимание девушки от Ромена.

Ей не надо было знать в точности, что она ему сказала. Наблюдая из окна спальни за изменившимся выражением лица мальчишки, Хид подумала, что хоть и не расслышала слов девушки, они буквально криком прозвучали у нее в ушах. Его улыбка, его взгляд сразу стали масляными. Скоро, очень скоро эта парочка будет миловаться прямо у нее под носом. В гараже под лоскутным одеялом. Хотя нет. Джуниор дерзкая. Она втихаря проведет его к себе в спальню или пустующую комнату. Кристин это не понравится. А может, ей будет все равно. Если на нее нападет приступ ненависти или зависти, она их в клочки раздерет. Но если правда, что она всю жизнь была распутной, ей это может даже прийтись по

нраву. Никто не угадает, в какую сторону прыгнет эта зеленоглазая кошка. В свою-то девятую жизнь, прости господи. А это даже неплохо, считала Хид, что у них вспыхнула щенячья любовь: это был хороший способ подольше удержать девушку в доме после того, как ей станет ясно, что обворовать хозяйку не получится. Довольно того, что Кристин таскает у нее деньги, чтобы расплачиваться со своим адвокатом. А озорная возня в темном углу, может, и Ромена немного раскрепостит. Вырвет из цепких лап Виды. А то он слишком зажат, слова лишнего не проронит. «Да, мэм. Нет, мэм. Нет, спасибо, мне надо вернуться домой до наступления темноты». И что ему, интересно, Вида и Сэндлер натрепали про нее? А про Кристин?

Что бы они ни натрепали, это вряд ли что-то ужасное, раз они позволяют мальчику приходить к ней работать. «Только не слишком там откровенничай с ней», — наверняка наказывает ему Вида. Но если у Ромена теперь появятся свои резоны тут околачиваться, пользы от него будет куда больше, чем прежде. Ведь он в точности последовал ее указаниям, когда под диктовку писал то объявление в «Харбор джорнэл». А пронырливая Джуниор научит его повадкам, которые

ему потребуются, чтобы облапошивать Виду и перестать считать всех взрослых, кто платит налоги, врагами и особенно пожилых дам держать за дур.

Хид давно привыкла к такому отношению. По правде сказать, даже этим пользовалась. Как теперь, когда понадеялась, что любой, кто бы ни прочитал ее объявление, будет нуждаться в деньгах, — и ей повезло, что первая же и единственная претендентка оказалась мало того что хитрованкой, так еще и алчной. Вчера вечером они разыграли друг перед другом целый спектакль, и пока мисс Вивиани не таясь оценивала взглядом комнату, Хид оценивала ее саму, и пока та старалась подчинить новую хозяйку своей воле, Хид позволила ей подумать, будто у нее это получилось. Ее интуицию до блеска отполировал долгий опыт привычки к тому, что ее все недооценивали. Только Папа знал ей истинную цену, потому и выбрал именно ее, предпочтя многим. Зная, что у нее нет ни образования, ни способностей, ни достойного воспитания, он тем не менее выбрал ее, хотя многие считали, что через нее можно перешагнуть и не заметить. Но вот она здесь, а где все они? Мэй в земле. Кристин осталась без гроша и торчит на кухне. Л. призра-

ком витает над Ап-Бич, откуда все они родом. А она вступила в войну со всеми и победила, и до сих пор остается победительницей, с растущим год от года банковским счетом. Разве что Вида добилась чего-то путного в жизни, а все благодаря Сэндлеру, который никогда не высмеивал и не оскорблял жену Билла Коузи. Он всегда уважал ее даже при том, что его собственная жена ее не уважала. И никто иной как Сэндлер пришел к ней просить, чтобы она наняла на работу его внука. Учтиво. Остался на стакан кофе со льдом в ее спальне. Вида так бы никогда не поступила. Не только потому, что она терпеть не может Хид, но и потому, что боится Кристин — и правильно! Нож, сверкнувший на похоронах Коузи, был самый настоящий, и если верить слухам, то в беспутной жизни Кристин были и скандалы, и приводы в полицию, и поджоги машин, и даже проституция. И никто не знает, что взбредет в голову той, кто привык жить в сточной канаве.

Не может такого быть, чтобы никому не было известно о ссорах между ними, вспыхнувших после того как Кристин вернулась сюда на постоянное жительство. В основном дело сводилось к словесным перепалкам: они спорили, что означают две буквы К, выгравированные на столовом

серебре, — то ли просто двойную К, то ли удвоенный инициал Кристин. А могло быть и так и эдак, потому что Коузи заказал эту гравировку уже после первого брака, но задолго до второго. Они препирались по поводу дважды украденных колец и о настоящей причине, по которой их чуть было не сунули под пальцы мертвеца. Но случалось, что споры перерастали в нешуточные потасовки, когда в ход шли руки, ноги, зубы и летающие предметы, и все заканчивалось синяками. С учетом ее габаритов и упрямства Кристин должна была бы в легкую побеждать в этих поединках. А Хид, при ее росточке и с ее слабенькими ручками, была обречена проигрывать каждую схватку. Но общий результат оказался по крайней мере ничейным. Ибо проворность Хид более чем компенсировала силу Кристин, так что ее быстрота и изворотливость — способность предугадать удар, защититься от него и отразить ответным ударом — изматывали противника. Раз — ну, может быть, дважды — в год они распускали кулаки, таскали друг друга за волосы, боролись, кусались, обменивались пощечинами. До крови никогда не доходило, до извинений тоже, и долгой подготовкой к сражению они тоже не занимались, но все равно их отношения ежегодно

переживали момент, который был для них не просто побоищем, но ритуалом. В конце концов они расходились, долго хранили ядовитое молчание и измышляли всякие способы выказать свою злобу. С возрастом осознание того, что ни одна добровольно не покинет поле брани, внесло свою лепту в обоюдное решение объявить перемирие без предварительных условий. Еще более сильным аргументом стало их безмолвное понимание, что побоища ничего им не дают, кроме повода продолжать держаться друг за друга. Но их скорби были слишком серьезными для такого исхода. Как и дружба, ненависть требовала куда большего, нежели физическое присутствие, и для поддержания огня в очаге их распри требовались творческий подход и тяжелый труд.

Их первая, прерванная в 1971 году, стычка послужила сигналом обоюдного желания вцепиться клыками друг в друга. Она вспыхнула, когда Кристин стащила с секретера Хид драгоценности, выигранные Папой в карты, — в бумажном пакете лежала куча чьих-то обручальных колец, которые он, по просьбе одного барабанщика, уже имевшего проблемы с полицией, согласился сдать скупщику краденого. А Кристин притворилась, будто хотела вложить

эти кольца в Папину ладонь, когда тот лежал в гробу. Спустя четыре года она заявилась в дом Хид с пакетом из универсама, и на ее пальцах красовалась та самая коллекция несбывшихся надежд дюжины женщин. Она предъявила свои права на часть дома и потребовала выделить ей жилое помещение, чтобы она могла ухаживать за Мэй, своей больной матерью, — той самой матерью, над которой она годами насмехалась, когда вообще удосуживалась вспомнить о ее существовании. Тогда-то отложенный бой возобновился и с переменным успехом продолжался десять лет. В поисках более интересных способов уязвить друг друга они обращались к фактам личной жизни, воспоминаниям детства. Каждая считала себя главной. Кристин — потому что она была куда выше и здоровее, умела не только водить машину, но и еще много чего другого, ну и на ней держался весь дом. А Хид, напротив, полагала, что она по-прежнему здесь хозяйка, победительница — не только потому что ей достались все деньги, но еще и потому, что она была умной — той, за кого ее никто, кроме Папы, не считал. Уж гораздо умнее этой обласканной любимицы, испорченной так называемым образованием в частной школе, кто по дурости своей не понимал муж-

чин, кто не был приспособлен к ответственной работе и чья лень в любом случае всегда мешала ей сделать что-то путное! Эта паразитка всегда жила за счет мужчин, пока ее не вышвырнули и не отправили обратно в этот дом, где она теперь кусала руку, которую должна бы лизать.

Хид не сомневалась, что понимает Кристин куда лучше, чем сама Кристин. И несмотря на то что с момента ее нового знакомства не прошло и двенадцати часов, она уже понимала и Джуниор, и теперь точно знала, что у этой шлюшонки на уме: она надеется облапошить несчастную старуху с артритом и использовать ее ради удовлетворения своих тайных вожделений. Хид и о них все знала — о вожделениях настолько жгучих, что у взрослой женщины на глаза наворачивались слезы ярости. Так было с Мэй, когда та узнала, что ее свекор снова собрался жениться. Но так бывает и с юной девушкой. Как это случилось с Кристин, когда та узнала, что ее лучшей подруге выпало счастье быть избранной. И обе, мать и дочь, просто взбесились от одной только мысли, что Папа выбрал себе в невесты простую девчонку с Ап-Бич. Девчонку, у которой сроду не было ни ночного халата, ни купального костюма. Которая в жизни не пользовалась ножом и вилкой. И не

знала, что пищу нужно раскладывать по разным тарелкам. Которая спала на полу и мылась по субботам в лохани, наполненной мутной водой, оставшейся после старших сестер. От которой бы всю жизнь воняло консервным заводом. И чья семья собирала старые газеты не для чтения, а для нужника. Кто не умел правильно составить предложение, кто знал печатные буквы — да и то не все, — но не разбирал те же буквы прописью. Поэтому ей и приходилось контролировать себя каждую минуту изо дня в день. Папа ее оберегал, но он же не мог быть рядом постоянно или везде, где она могла схлестнуться с кем-то, потому что, как выяснилось однажды, Мэй и Кристин были не единственные. Обладая, как и всякий полуграмотный человек, необходимой смекалкой, Хид к тому же имела безупречную память и, подобно многим, кто не читал книг, дружила с цифрами. Она могла запомнить число чаек, слетевшихся на песок полакомиться выброшенной прибоем медузой, и даже мысленно повторить траектории их полета, когда птицы, если их вспугнуть, взмывали в небо. В денежных расчетах она не ошибалась никогда. Вдобавок у нее был острый, как у слепца, слух.

Послеполуденное солнце жарило вовсю. Она

сидела в беседке и обедала. Зеленый салат, вода со льдом. В тридцати ярдах от нее группка курортниц расположилась на крытой веранде, потягивая ромовый пунш. Две из них были актрисы, причем одна участвовала в пробах для «Анны Лукасты»[25]; другие две — певицы, и еще одна училась у Кэтрин Данэм[26]. Они беседовали негромко, но Хид слышала каждое слово.

«И зачем он только на ней женился? Чтобы защитить. От чего? От других женщин. Не думаю. Он ходит налево? Возможно. Глупости — конечно, ходит! А она не уродина. Хорошая фигурка. Была когда-то хорошая! Она могла бы выступать в клубе «Коттон»[27]! Если бы не цвет кожи. Неплохо бы ей хоть иногда улыбаться. И ей надо что-то придумать с волосами. Расскажи, расскажи! Итак, почему он все-таки ее взял? Ума не приложу. С ней должно быть непросто. Что значит непросто? Ну не знаю, она какая-то неотесанная. (Долгий

---

[25] Примечания: 25

«Анна Лукаста» (1949) — драма, выпущенная кинокомпанией «Коламбия пикчерс».

[26] Примечания: 26

Кэтрин Данэм (1909–2006) — американская актриса, автор и исполнитель песен, танцовщица, хореограф.

[27] Примечания: 27

Клуб «Коттон» — знаменитый клуб в нью-йоркском Гарлеме, прославившийся в 1920-е гг. танцевальными программами.

смех.) В каком смысле? Ну, сама понимаешь, будто с дерева слезла. (Заливистый хохот.)»

Пока они там болтали, по стенкам стакана Хид скатились четыре ручейка, пробив себе путь сквозь холодную испарину на стекле. Зеленые зрачки острого перца пялились из оливковых глазниц. Лежавший на луковом кольце полумесяц помидора корчил ей улыбку, оскалив зернышки-зубы — до сих пор она не могла этого забыть.

Папа настоял, чтобы она научилась вести дела в отеле, и она научилась, несмотря на издевательские замечания персонала и откровенное вредительство со стороны Мэй и Кристин. Их ярость не угасала, распаляемая ярким сиянием, исходившим от супружеской пары, когда они спускались к завтраку, и тянущим от них жаром за ужином в предвкушении предстоящей ночи. Мысли о Папе, лежащем с ней в одной постели, провоцировали обеих на новые и еще большие мерзости. Война была объявлена сначала свадебному платью, заказанному Папой в Техасе. Дорогущее, красивое, оно оказалось слишком большого размера. Л. подколола его булавками по фигуре малышки невесты, но потом платье куда-то задевалось, и его не могли найти вплоть

до начала церемонии, когда его было уже поздно перешивать. Л. подогнула рукава и укоротила английскими булавками подол, и все равно Хид стоило большого труда сохранять на лице улыбку, спускаясь по лестнице в вестибюль отеля и проходя сквозь строй гостей. Родня Хид на церемонии отсутствовала, потому что, кроме Солитюд и Рэйчес Монинг, никому из семьи не было дозволено переступить порог отеля. Согласно обнародованному объяснению, они все еще оплакивали смерть Джоя и Велкома. Истинной же причиной было поведение Мэй, которая не пожалела слов, чтобы облить грязью всю породу Джонсонов. Она даже возражала против того, чтобы Папа оплачивал похороны мальчишек, и сквозь зубы бурчала, что этим бездельникам нечего было плавать в «их» части океана. И только младшим сестрам Хид разрешили зайти бочком в зал и послушать свадебный гимн. Но злобного ехидства в адрес новых родственников показалось мало, и Мэй с дочкой сделали мишенью своей критики молодую невесту, в которой им не нравилось все: как она говорит, как соблюдает личную гигиену, как ведет себя за столом — и еще тысячи прочих прегрешений, допущенных Хид по неведению. Не знала она, что такое

«обналичить чек третьим лицом», как заправлять кровать, куда выбрасывать гигиенические салфетки, как накрывать на стол, как вести учет закупок. Хид вполне бы научилась читать написанные прописью буквы, если бы этот ее изъян не был предметом постоянных насмешек. Л., которая в то далекое время ей симпатизировала, многому ее обучила и, по сути, спасла ту роскошную жизнь, которую Папа подарил ей, и только ей одной. В одиночку она никогда бы не смогла выплыть из коварного водоворота, если бы Л. не подхватила ее и не направила нужным курсом. В то время Хид об этом не думала и просто принимала щедрость мужа как должное. Он оплатил похороны ее братьев, вручил ее матери дорогой подарок и вызвал благодарную улыбку на губах ее отца. Она не имела ни малейшего представления, что многие — особенно члены ее семьи — ждут не дождутся воспользоваться его благодеяниями. Ее родня так раскатала губы, что из-за них-то и произошел разрыв, который так и не удалось залатать. Едва только завершилась свадьба, они набросились на нее со всех сторон. С намеками: «Я слыхала, им требуются на работу люди, но ведь понадобится приличная обувь…», «А ты видела платье, которое Лола подарила ма-

тери?» С просьбами: «Спроси у него, не может ли он дать мне немного взаймы до…», «Сама знаешь, я на мели с самого…», «Я верну тебе сразу, как только…» С требованиями: «А дай мне…», «И это все?», «Тебе же это не нужно?» И когда наконец им сказали держаться подальше от курорта, Хид было настолько за них стыдно, что она не стала возражать. Рэйчес и Солитюд даже усомнились в ее родственных чувствах. С тех пор колкие упреки и обвинения отравляли каждый ее визит в Ап-Бич, и когда она объяснила Папе, отчего у нее глаза на мокром месте, его жесткая реакция принесла ей облегчение. Ей и не нужен никто, кроме него, потому что он — все, что у нее есть.

Хид отдыхала, лежа в сиреневой пене, прижав затылок к фаянсовой кромке ванны. Вытянув ногу, она подергала пальцами цепочку и вынула затычку из отверстия слива, а потом дождалась, когда из ванны сойдет вся вода. Если она поскользнется, упадет и потеряет сознание, по крайней мере, она сможет прийти в себя, не утонув. «Это глупо и опасно, — подумала она, вылезая из ванны. — Одной мне больше не справиться».

Завернувшись в полотенце, сидя в Папином красном парикмахерском кресле, она решила

попросить — нет, приказать — Джуниор помогать ей залезать в ванну, а потом вылезать. Эта была необходимая жертва, которая ей совсем не улыбалась. Но ее совершенно не волновало то, что она такая неуклюжая и вынуждена зависеть от кого-то, и предстанет в своей жалкой тщедушной наготе перед оценивающим взором молодой крепкотелой девчонки. А беспокоило Хид и заставляло ее колебаться то, что ее кожа утратит память, а тело позабудет об удовольствии. О том, как в первую брачную ночь он сжимал ее тело в своих объятиях и погружал в воду. О том, как они тайком ускользнули с малоприятного банкета, выбежали через служебный выход в темноту, он в смокинге, она в чересчур большом свадебном платье, промчались по мягкой траве и оказались на мелком, как мука, пляжном песке. Он ее раздел. Но не вошел. Крови не было. И больно или неловко тоже не было. Мужчина просто гладил ее, нежно ласкал, а потом купал в океане. Она выгнула спину. Он стоял позади нее, обхватив за колени, а потом раздвинул ей ноги навстречу прибою. Кожа может позабыть это ощущение, оказавшись рядом с развязной девицей, в чью кожу вросли, как татуировки, ее собственные сексуальные воспоминания. Самым недавним

из которых, ясное дело, были отметины Ромена. И как далеко все это зайдет? Как это все будет выглядеть? У Джуниор наверняка этих отметин так много, что и ставить негде. И они в конце концов сольются в сплошную кружевную сетку по всему телу, и там уж не разберешь, где чья, не отличишь одного парня от другого.

Собственная же история Хид была окрашена в цвета, восстановившие свою первозданную яркость в мыльной пене. Надо бы ей обдумать способ сделать так, чтобы присутствие Джуниор не стерло с кожи тех ощущений, которые она впервые познала в пене океанского прибоя.

Однажды маленькая девочка забрела слишком далеко — где было много-много воды, и вдоль ее кромки плескались волны, а грязь сменилась чистым песком. Океанские брызги намочили мужскую майку, в которой она была. Другая маленькая девочка, с белыми ленточками в волосах, сидела на красном одеяле и ела мороженое. Вода была синяя-синяя. А вдалеке толпа людей смеялась.

— Привет! Хочешь? — спросила девочка и протянула ей ложку.

Они ели мороженое с кусочками персиков, пока не подошла улыбающаяся женщина и не

сказала:

— А теперь уходи. Это частная территория.

И она пошла, глядя, как на мокром песке остаются следы ее ножек, а девочка с мороженым закричала ей вслед:

— Подожди! Подожди!

Кухня была огромная, там все сверкало, и в ней была куча народу, и они все готовили еду, переговаривались, гремели кастрюлями. Та, что сказала с улыбкой: «Уходи!» — улыбалась еще больше, а девочка с мороженым теперь стала ее подругой.

Хид надела чистую ночную рубашку, а поверх нее старомодный атласный халат. Сев за туалетный столик, внимательно изучила в зеркале свое лицо.

— Уходить? — спросила она свое отражение. — Или подождать?

А разве можно сделать одно и то же одновременно? Ее пытались прогнать с белого песка обратно в прибрежную грязь, остановить, спрятав ее свадебное платье, но со временем та, что крикнула ей «Подожди!», уехала, а сказавшую «Уходи!» убрали с глаз долой. Глупые, испорченные богатством великодушного человека, они ничему не научились. Или научились, да слишком поздно. Даже теперь Хид отдавала себе отчет,

что со стороны может показаться, будто она ведет жизнь праздной старухи, которой нечего делать, кроме как листать газеты, слушать радио да трижды в день принимать ванну. Но им не понять, что быть победительницей — для этого одного терпения недостаточно. Тут требуются мозги! Такие мозги, что отказываются признать существование женщины, которая могла вызвать твоего мужа, когда ей заблагорассудится. И чье имя он не называл даже во сне. О, девочка моя! О, девочка моя! Пусть себе стонет. Пусть спешит себе «на рыбалку» без удочки и наживки. У нее есть способ все исправить. Да только теперь времени осталось в обрез.

Кристин это знала — и вот ни с того ни с сего побежала консультироваться с адвокатом. С одной из этих так называемых новых специалисток из чернокожих, имевших за плечами двадцать лет опыта. Такая, надеялась Кристин, уж как-нибудь сможет провести хитрую старуху, умудрившуюся заткнуть за пояс целый город: одолеть невестку, выгнать Кристин и поднять себя выше всей этой хитрозадой шелупони, которая вечно выпрашивала себе благодеяния и которую, что бы она ни делала, все равно выворачивало у нее за спиной. Потому что, сколько она помнила, Хид всегда

чувствовала, что людей от нее тошнит. Сказать по правде, Папа был единственный, кто не заставлял ее так чувствовать. С ним она всегда была в безопасности, что бы он там ни бормотал во сне. И никаких вопросов не могло даже возникнуть по поводу того, что он намеревался оставить ей после смерти. Было завещание, не было завещания, да кто же поверит, что он предпочел собственной жене эту жалкую Кристин, которую не видел аж с 1947 года. Если только в дело не вмешаются чернокожие, с позволения сказать, адвокатки — эти на дух не переносят таких дам в возрасте, как Хид, у кого в одном волосе делового чутья как-нибудь побольше, чем в куриных мозгах всех этих тупиц с высшим образованием!

Поскольку больше ничего и не было, нацарапанные на меню наброски завещания, которые случайно обнаружила Л., сочли законными, с тем условием, что ничто иное, противоречащее написанному, не будет обнаружено позднее. С тем условием. С тем условием. А предположим, что позднее нашлось что-то написанное, подтверждающее и разъясняющее те записи на меню? Не настоящее заверенное нотариусом завещание — его ведь и не было, а если и было, то умалишенная Мэй его давно припрятала, как она

поступила со свидетельством о праве собственности, — а какие-нибудь еще наброски на другом меню, сделанные спустя год после оформления свидетельства от 1958 года, в которых «моя милая малютка Коузи» прямо была бы названа по имени: Хид Коузи. Если Папа в 1958 году сделал какие-то наметки завещания и впоследствии изложил то же самое на каком-то там меню, то Хид вполне может это другое меню найти — и вот тогда уж ни один судья не поддержит иск Кристин…

Мысль была не нова. Хид обдумывала возможность такого чуда довольно долго — еще с 1975 года, когда Кристин ворвалась к ней в дом, сверкая бриллиантами и заявляя, будто камни ее. Новой же была догадка, пришедшая Хид в голову прошлым летом. Смазывая лосьоном руки и массируя пальцы, старясь их разогнуть и растопырить и изучая знакомый шрамик на тыльной стороне ладони, Хид снова вспомнила тот несчастный случай. Душная кухня, картонные коробки на рабочем столе: электрический нож, миксер «Санбим», духовка «Дженерал электрик» — все новенькое, только из магазина. Л., ни слова не говоря, наотрез отказывается их распечатывать, не говоря уж о том, чтобы пользоваться

этими агрегатами. 1964 год? 1965-й? Хид начинает с Л. спорить. И тут в кухню входит Мэй со своей картонной коробкой и в своей дурацкой армейской каске. В той объемистой коробке когда-то лежали упаковки стирального порошка «Ринзо».

Она тогда была просто одержима тревогой, что отелю и всем, кто в нем находится, грозит страшная опасность. Что черные из города уже вторглись в Ап-Бич, у них с собой бензин, спички, «коктейли Молотова», они орут и подначивают местных спалить курорт Коузи дотла и избавиться от этого «дяди Тома», дружка шерифа и предателя своего народа. Папа тогда сказал, что протестующие не имеют понятия о предательстве и что Мэй надо было бы выйти замуж за его отца, а не за его сына. Не имея ни капли доказательств, в условиях, когда не было даже намека на нападения, угрозу или даже неуважения, кроме шевелящегося у нее в голове червя предубеждения, Мэй не собиралась вступать ни в какие пререкания, а просто присвоила себе роль единственной защитницы курорта.

Когда-то она была одной из многих громогласных защитников «цветного» бизнеса, пользы сегрегированных школ, больниц с особыми негритянскими отделениями с больными и

врачами, банков, которыми владели цветные и цветных же обслуживали, и прочих достойных профессий, призванных обслуживать черную расу. Позднее она обнаружила, что ее убеждения более не соответствуют старомодным представлениям о подъеме самосознания черной расы, но считаются сепаратистскими и националистическими. В духе не добродушного Букера, а неистового Малкольма Икса[28]. В недоумении она начала путаться в лозунгах, противоречить сама себе. Она выбивала из единомышленников согласие со своими заявлениями и беспрестанно ссорилась с теми, кто начал задумываться о том, можно ли танцевать на океанском берегу, когда детей взрывают в воскресных школах, и нужно ли цепляться за законы о собственности, когда вся округа охвачена пожаром. По мере того как движение за гражданские права ширилось, а во всех новостях сообщалось о похоронах, маршах протеста и волнениях в гетто, Мэй, предрекая массовые казни, оттолкнула от себя здравомыс-

[28] Примечания: 28

Букер Тальяферро Вашингтон (1856–1915) — выдающийся просветитель и борец за просвещение американских негров, политик, писатель, сторонник мирного сотрудничества белых и чернокожих американцев. Малкольм Икс (наст. имя Малкольм Литтл; 1925–1965) — радикальный деятель движения афроамериканцев за гражданские права, проповедовавший идеи «черного национализма».

лящих людей. Даже те из постояльцев отеля, кто был с ней согласен, начали ее сторониться, не желая слушать ее пророчества о грядущем Армагеддоне. Она обнаружила смутьянов среди официантов, видела оружие в руках садовников. Первым ее прилюдно пристыдил басист оркестра: «Ох, женщина, заткнулась бы ты!» Эти слова были сказаны ей не в лицо, а в спину и достаточно громко, чтобы их могли услышать. Другие гости тоже стали вести себя с ней столь же бесцеремонно или просто вставали и уходили, когда она к ним приближалась.

В конце конов Мэй утихомирилась, но своих взглядов не изменила. Она просто начала таскать вещи, чтобы уберечь от керосинового пламени, которое, как она была уверена, со дня на день вспыхнет в отеле. И от гранат, которые будут бросать в окна отеля, и от противопехотных мин, которые уже зарыты в пляжном песке. Маршруты ее поисков были обширны и точны. Она регулярно патрулировала пляж и натянула леску перед дверью в свою спальню. Она прятала документы и булавки. И в 1955 году, когда тело избитого до полусмерти подростка наглядно свидетельствовало, насколько серьезно белые воспринимают любые проявления непокорности, а в воздухе

запахло грядущими беспорядками, как только до курорта дошли слухи о бойкоте в Алабаме[29], для Мэй осталась лишь одна неприступная крепость — отель, — и она закопала в песок свидетельство о праве собственности на недвижимость. Спустя десять лет клиенты отеля, вспыльчивые и шумные, относились к ней как к пустому месту. И когда волны черного протеста докатились до тихого побережья, захватив также и деловые кварталы, она вверила своим заботам еще и дом номер один по Монарх-стрит. Не имея никакого авторитета ни на курорте, ни в доме, она затаилась, словно забилась в раковину среди натасканного ею добра. Деньги и столовые приборы она держала в коробках из-под риса «Анкл Бенс»; под тонкими льняными скатертями прятала рулоны туалетной бумаги и тюбики зубной пасты; дупла деревьев в саду были забиты ее нижним бельем на всякий пожарный случай; семейные фотографии, подарочные альбомы, записки и прочий хлам она запихала в мешки и коробки и прибрала в потайные места…

И вот, шумно дыша, она заходит в кухню отеля

---

[29] Примечания: 29

Имеется в виду организованная чернокожими активистами акция бойкота автобусов с отдельными местами для белых и цветных в штате Алабама в 1950-е гг.

с коробкой из-под «Ринзо» как раз в тот момент, когда Хид упрекает Л. за то, что та не желает вскрыть упаковки — зря, что ли, деньги уплачены? — и воспользоваться новой кухонной техникой, благодаря которой приготовление блюд заметно ускорится. Л., не глядя на нее, продолжает молча макать кусочки цыпленка в яичный соус, а потом обваливать их в муке. И тут со сковородки выплескивается кипящий жир — и раскаленная струя падает прямо на ладонь Хид.

До недавних пор единственное, что ей запомнилось про тот случай, — боль от ожога. И вот тридцать лет спустя, протирая руки лосьоном, она вспомнила еще кое-что. То, что было до выплеска кипящего жира. Как она остановила Мэй, как залезла в коробку из-под стирального порошка и увидела там упаковку оставшихся с прошлого Нового года праздничных салфеток, коктейльных соломинок, бумажных шляп — и пачку старых меню. Как услышала слова Мэй: «Мне нужно это убрать». И как в тот же вечер коробки с новым кухонным оборудованием исчезли, а потом она их случайно нашла на чердаке — это был последний бессловесный бунт Л. И теперь Хид была уверена, что та коробка с хламом Мэй так и осталась на чердаке. Там должны

лежать те пятьдесят меню. Их составляли раз в день, или на неделю, или на месяц, в зависимости от капризов Л., и на каждом меню проставляли дату, свидетельствовавшую о свежести продуктов и домовитой аккуратности повара. Если она получила ожог кипящим жиром в 1964-м или 1965 году, когда волнения в Миссисипи или Уоттсе[30] вызвали у Мэй такой ужас, что за ней приходилось все время следить и возвращать украденные ею вещи, то, значит, припрятанные ею меню напечатали через семь лет после того меню 1958 года, которое официально считается единственным законным завещанием Билла Коузи. В той коробке лежит целый ворох меню. А ей-то требуется только одно… Меню да вороватая душа и молодая твердая рука, умеющая писать прописью.

Старая добрая Мэй. Годы хитроумия, десятилетия безумия — и то, и другое могло бы заменить простодушие, и тогда, глядишь, все пошло бы по-другому. Будь она сейчас жива — это бы ее убило. Задолго до смерти она превратилась в привидение из народного водевиля, бродя по комнатам

[30] Примечания: 30

Речь идет о расовых волнениях в штате Миссисипи в 1962 г., когда президенту Кеннеди даже пришлось объявить там военное положение, и о восстании в Уоттсе, «черном» пригороде Лос-Анджелеса, в 1965 г.

отеля и прячась за дверями, пока не поняла, что безопаснее просто припрятать свидетельство той жизни, которой «черная» революция шестидесятых хотела ее лишить. Но теперь она воистину упокоилась с миром, так как, когда она умерла в 1976 году, обожаемая ею смертная казнь вновь вернулась в моду, и она просто пережила ту революцию. Однако ее призрак, в каске и при кобуре, был жив и набирал силу.

Над шоссе на Харбор пахло апельсинами — привычным запахом, который неизменно сопровождал Кристин во время всех ее прошлых побегов. Первый раз — пешком, второй раз — на автобусе, и всякий раз тянувшиеся вдоль дороги апельсиновые деревья словно окропляли беглянку приятным цитрусовым ароматом. И эта до боли знакомая дорога будто служила рамой для пригрезившейся жизни. Действие всех запомнившихся ей снов, от самых глупых до пугающих, разворачивалось прямо на шоссе номер двенадцать или рядом, и если шоссе во сне оставалось невидимым, все равно оно бежало где-то вдоль границы сна, чтобы в нужный момент прийти на помощь испуганной девочке или стать ареной бессвязного сюжета очередного сладкого сновидения. И теперь, когда она нажимала на педаль

газа, в ее спешке было что-то от ночного кошмара — когда ты, задыхаясь, торопишься куда-то, а время при этом остановилось, — но морозный воздух убил молодые плоды вместе с их ароматом, чье отсутствие Кристин ощущала с необычайной остротой. Она опустила стекло, потом подняла и снова опустила.

Мытье машины в исполнении Ромена не предусматривало уборку салона. Поэтому «олдсмобиль» сверкал снаружи, но внутри воняло как в КПЗ. Однажды она набросилась на автомобиль куда более шикарный, чем этот, — и именно из-за запаха. Она тогда хотела вообще его уничтожить — и автомобиль, и все, что он символизировал, но в основном пытаясь уничтожить запах «Уайт шоулдерс»[31], который колол ноздри и сковывал язык. Владелец автомобиля доктор Рио так и не увидел причиненного ущерба, потому что его новая подружка прежде, чем его хватил удар, вызвала эвакуатор и отправила разбитую машину в ремонт. Молоток Кристин размозжил лобовое стекло, а ее острая бритва изрезала пухлую кожу сидений и темную змею пленки из кассеты (в том числе и в особенности с записью «Лучших

[31] Примечания: 31

Американская парфюмерная вода с цветочным букетом, популярная во второй половине 1940-х гг.

времен» Эла Грина[32]), ошметки которой она набросила на приборную панель и на руль, о чем хозяин потом только слышал, но, слава богу, не видел. И этот акт вандализма причинил ей страданий не меньше, чем отставка, которую он ей дал. Изничтожить «Кадиллак» было нелегко, но сие деяние, совершенное средь бела дня, когда она пришла в неистовство, учуяв в салоне запах духов другой женщины, было подвигом, и его требовалось совершить на глазах у важной свидетельницы, ради которой этот подвиг, собственно, и был совершен. Как выразилась тогда хозяйка пансиона, где поселилась Кристин, доктора Рио пощадила его новая женщина. И это ошибка, добавила тогда Манила. Новая женщина должна была бы заставить его усвоить этот урок — надо, чтобы он воочию увидел это предупреждение о том, на что способна отвергнутая женщина. Если бы ему было позволено самому увидеть результат избавления от одной женщины, это могло бы помочь очередной любовнице пролонгировать свою краткосрочную аренду его благодеяний на более длительный период.

Сияние воспоминаний о докторе Рио затмило

[32] Примечания: 32

Эл Грин (р. 1946) — американский певец в стиле соул, звезда эстрады 1970-х гг.

ее сожаления по поводу своей непутевой жизни, как и чувство неловкости за расправу с его любимым «Кадиллаком». Невзирая на постыдный финал их романа, три года, прожитые с ним — ну ладно, *рядом* с ним, так как он имел непоколебимый статус неразводящегося мужа, — были чудесными. Она видела немало кинофильмов о тяготах содержанок, о том, что в конце концов они умирали или страдали из-за своих незаконнорожденных детей, которые тоже умирали. Иногда таких женщин обуревала печаль из-за своей вины, или они с рыданиями бросались в объятия обманутых жен. Но вот, спустя двадцать лет с тех пор как ее сменила новая обладательница «Уайт шоулдерс», Кристин продолжала упрямо считать, что годы, прожитые в качестве содержанки, были лучшим периодом ее жизни. Когда она встретила доктора Рио, ей был сорок один, а ему шестьдесят, что автоматически делало его «пожилым». Теперь, когда ей самой было хорошо за шестьдесят, это слово ничего не значило. Теперь он наверняка уже умер или прикован к постели и платит какой-нибудь юной мамашке, сидящей на пособии, по сотне долларов за массаж ступней, а дневная сиделка следит за подачей кислорода из аппарата искусственного дыхания. Эту сцену

она себе представляла с трудом, потому что когда видела его в последний раз, он выглядел так же обольстительно, как и в первый. Преуспевающий терапевт, всегда элегантно одетый, страстный, игривый. И последнего в жизни шанса вытащить счастливый билет ее лишил второй древнейший враг: другая женщина. Девочки Манилы болтали, будто доктор Рио дарил каждой новой любовнице один и тот же парфюм. А Кристин тогда сочла, что это уникальный подарок — этакий интимный жест заботливого поклонника. Он любил этот аромат, и она научилась его любить. Останься она в пансионе Манилы подольше или навещай она ее шлюх потом хоть иногда, она бы сразу распознала фирменную модель поведения доктора Рио: он увлекался новой пассией, соблазнял ее и предлагал переехать в свою дорогую квартиру на Трилейн-авеню, и в день, когда та въезжала в квартиру, вручал ей драцену и флакон «Уайт шоулдерс». В отличие от роз и других цветов, драцена была символом законности и постоянства отношений. Но что символизировали «Уайт шоулдерс»? А бог его знает. Возможно, он об этом где-то вычитал — в каком-нибудь мужском журнале, созданном специально для того, чтобы научить читателей понимать разницу между

учтивостью и чистыми волосами. Это наверняка был потрепанный, немодный глянцевый ежемесячник для юнцов, изображающих из себя взрослых мужиков, где описывались приемы обольщения, как будто нужны какие-то каверзные приемы, когда женщина уже выбрала себе мужчину. Да пошли он ей хоть бутылку отбеливателя «Клорокс» и засохшую рождественскую елку — она сделала бы для него все что угодно, за то только, что он оказался рядом! Полная свобода, жизнь на всем готовом, незабываемый секс, умопомрачительные подарки. Путешествия, короткие и тайные, чтобы его жена ни о чем не прознала, вечеринки, вечная нервозность и при всем том достойное место в приличном обществе черных из среднего класса, которые могут предаваться сладкой жизни, будучи при деньгах и имея надежный диплом о высшем образовании.

Двенадцатое шоссе было пустынным, что и позволило Кристин отвлечься от мыслей о ее срочной и безотлагательной миссии. В голову лезли обрывки воспоминаний о прошлой жизни. О стремительном перемещении из каюты первого класса, забронированной для романтического круиза на океанском лайнере, в вонючий салон патрульной машины головой вперед; от стола для

почетных гостей на банкете Национальной медицинской ассоциации к положению лежа на спине на истертом ее локтями и мужскими ладонями матраце, который, по совету других шлюх Манилы, каждый день приходилось проветривать, чтобы избавиться от запаха спермы предыдущих клиентов. Вернувшись к Маниле и воспользовавшись ее экстренной, пусть и кратковременной щедростью, Кристин вылила остатки своих «Уайт шоулдерс» в унитаз, сунула в большой универсамовский пакет пару туфель, бюстгальтер, ночную рубашку, брюки-бриджи и собственную гордость. Все, кроме бриллиантов и детской серебряной ложки. Их она положила в сумку на молнии, куда отправились и выданные ей Манилой взаймы пятьдесят долларов. Девочки Манилы почти все время держались с ней дружелюбно, но иногда — не очень. Им страшно нравились их золотые сердечки, которые они вытягивали из кошельков или выманивали, прибегая к шантажу в мягкой форме, и все они внушали ей уверенный оптимизм. Они уговаривали Кристин не переживать, уверяя, что наступит день и какая-нибудь ушлая женщина отрежет ему член, и, кроме всего прочего, она же умная и хитрая, а в мире еще навалом лопухов, и последнее «прости» еще не сказано.

Кристин была благодарная им за оптимизм, но сама его не разделяла. Ее выбросили из квартиры после того, как она несколько недель упрямо отказывалась съехать по-хорошему, и она не смогла прихватить меховую шубу, замшевое пальто, кожаные брюки, льняные костюмы, туфли от Сен-Лорана, даже противозачаточную диафрагму: это «прости» было окончательным. В четыре «самсонайтовских» чемодана, с которыми она уехала из дома в 1947 году, вместилось все, что, как ей казалось, хватило бы на всю жизнь. Но в 1975 году, в пакете из «Уолмарта», с которым она вернулась на Монарх-стрит, уместились все ее пожитки. Учитывая, сколь велик был багаж практического опыта Кристин, каждый ее очередной отъезд из Силка не вызывал большей жалости, чем предыдущий. Первый — в тринадцатилетнем возрасте, в результате детской истерики, завершился неудачно через восемь часов; второй — в семнадцать лет, побег от отчаяния, оказался столь же катастрофическим. Оба побега выросли на почве обиды и гнева. Но третье и последнее бегство, в 1971 году, стало осознанной попыткой избежать кровопролития, до которого она созрела в душе. Бежать из Харбора, Джексона, Графенвера, Тампы, Уэйкросса, Бостона, Чатта-

нуги — как и из любого другого города, который когда-то приманил ее щедрыми посулами, — было легко ровно до того момента, как доктор Рио насильно вышвырнул ее без всякой причины, и, раздумывая над этим, она не могла придумать никакого иного объяснения, кроме внезапно возникшего у него желания подарить свежую драцену более молодой вешалке для меховой шубы, которая по очереди переходила от одной любовницы к другой. После многодневных размышлений в пансионе у Манилы (ее так назвали в честь фронтовых подвигов папаши) Кристин придумала способ разыграть свое возвращение в Силк как проявление чувства стыда и еще, воспользовавшись взятыми взаймы деньгами, как акт дочерней преданности (позаботиться о больной стареющей матери), ну и как благородную битву за справедливость (получить свою законную долю состояния Коузи).

Ей вспомнилось возвращение на автобусе в родные места, когда во время поездки на нее то и дело накатывали волны сна, пропитанного соленым ароматом океана. За одним взрывным исключением (тогда ее ослепила ярость), когда она впервые за последние двадцать восемь лет увидела Силк. Аккуратные дома стояли на ули-

цах, которые носили имена героев и названия деревьев, срубленных на месте будущих новостроек. Кафетерий Масео по-прежнему стоял на Гладиатор-стрит напротив «Агнца Божьего», упрямо конкурируя с новой закусочной «Патти» на Принц-Артур-стрит. Потом ее дом: знакомое здание, которое после ее скорого отъезда продолжало меняться — без нее. С детства запомнившаяся сливочная масляная краска, как на картине, превратилась в обычную краску для фасадов. Бойкие загадочные соседи стали туманными силуэтами самих себя. А дом, часто являвшийся в сладких снах и кошмарах, оказался полуразвалившимся, не сияющим, а запущенным, хотя и куда более желанным, потому что все, что случилось с ним, случилось и с Кристин. Это не дом скукожился, а она. Это не его окна покосились, а она. И значит, сейчас он ее больше, чем когда-либо раньше.

Во взгляде Хид, немигающем и холодном, можно было прочесть все что угодно, но только не радушное приглашение, однако Кристин, ни слова не говоря, прошмыгнула мимо нее в дверь. Без долгих слов они заключили, так сказать, мирное соглашение, потому что Мэй была недееспособна, дом зарос грязью, а из-за прогрессирующего

артрита руки Хид утратили былую подвижность, и никто в городе не желал прийти к ним помочь. И вот бывшая выпускница частной школы взвалила на себя домашнее хозяйство, в то время как другая, кто едва мог читать по складам, оставалась полновластной хозяйкой в доме. Та, кого один мужчина продал, вела битву с той, кого тот же мужчина купил. Степень отчаяния, вынудившего ее на вторжение в дом, была высока, ибо Кристин вернулась в дом, чья владелица когда-то была готова спалить его дотла, лишь бы выжить ее отсюда. Которая однажды именно с этой целью подожгла ее кровать. И на сей раз ради безопасности она заняла пару комнатушек рядом с кухней. У нее словно камень упал с плеч, когда она увидела беспомощные руки Хид, но зная, на что эта женщина способна, все равно одно только присутствие ее заставляло сердце биться чаще. Ибо не было на свете существа более коварного и злопамятного. Вот почему дверь между кухней и комнатами Кристин имела надежный замок, ключ от которого был столь же надежно припрятан.

Притормозив перед черепахой, переползавшей шоссе, и резко свернув, чтобы ее объехать, Кристин раздавила вторую, ползшую следом за

первой. Она остановила машину и взглянула в боковые зеркала — сначала в правое, потом в левое — и в зеркало заднего вида, ища признаки жизни или смерти: лапки, тянущиеся к небу, моля о помощи, или неподвижный треснутый панцирь. У нее дрожали руки. Ничего не заметив, она вышла из машины и побежала назад. На шоссе было пусто, апельсиновые кусты неподвижны. Никакой черепахи. Ей что же, привиделась та, вторая? Та мисс Вторая Лучшая, которую раздавило безжалостное колесо, свернувшее влево и пощадившее первую, более удачливую, черепаху. Исследуя дорогу, она даже не удивилась, не спросила себя, отчего у нее так болит сердце за черепаху, переползавшую двенадцатое шоссе. Она заметила движение на южной обочине — там, куда направлялась первая черепаха. Кристин медленно пошла туда и с облегчением увидела, что оба панциря медленно передвигаются в траве к лесочку. Значит, ее колеса промахнулись мимо мисс Второй Лучшей, и та, пока водительница страдала за ее судьбу, успела догнать более быструю подругу. Замерев на месте, Кристин стала наблюдать за ползущей парочкой и вернулась к своей машине, только когда рядом притормозила другая.

— У тебя что, дома туалета нет? — осклабился водитель.

— Пошел ты, козел! — огрызнулась Кристин.

Тот показал ей пухлый средний палец и укатил.

Адвокатша наверняка удивится ее появлению: Кристин заранее не записалась к ней на прием — но не откажет ее принять. Каждый раз, когда Кристин заявлялась к ней в офис без спросу, ее визит умудрялись вставить в рабочий график. Ее движение по наклонной — от капризной девчушки из благополучной семьи к поблекшей бездомной изгнаннице — не было ни медленным, ни тайным. Все всё знали. И ей не суждено было вернуться в родные пенаты в элегантном седане с преуспевающим супругом за рулем. Да, триумфальное возвращение — диплом о высшем образовании и счастливая семейка — ей не грозило. И, несомненно, не будет увлекательных историй ни о том, как трудно вести собственный бизнес, ни о жестких ограничениях личной свободы, налагаемых требовательными менеджерами, клиентами, пациентами, агентами или тренерами. Короче говоря, никакого радушного приема в родном городе с намеками на личные достижения и с завуалированным снисхождени-

ем. Она была неудачница. С дурной репутацией. Но ко всему прочему, она еще и Коузи. И в Харборе это имя до сих пор вызывало уважительные охи и ахи. Сам Уильям Коузи, некогда владелец многих домов, пляжного курорта, двух яхт и кучи денег в банке, о котором судачили все местные жители, который всегда восхищал людей, но буквально довел весь округ до кондрашки, когда выяснилось, что он не оставил завещания. Только какие-то каракули на меню 1958 года, которые излагали его желания, родившиеся под действием виски. А именно: 1) «Джулия II» — доктору Ральфу; 2) «Монтенегро коронас» — шефу Силку; 3) отель — жене Билли-младшего; 4) дом на Монарх-стрит и «оставшиеся наличные денежки» — «моей милой малютке Коузи»; 5) кабриолет 1955 года — Л.; 6) галстучные булавки — Мил Дэдди и так далее и тому подобное, вплоть до его коллекции пластинок, которую он оставил Даму Томми, «лучшему блюзовому гитаристу в этом божьем мире». Нет сомнений, он пребывал в прекрасном настроении — спасибо неразбавленной «Дикой индейке», когда он сел вот так однажды вечерком в компании собутыльников и записал свои заветные желания среди гарниров, фирменных блюд, закусок, горячих и десертов,

распределив все свое состояние среди особо приятных ему людей. Спустя три года после его смерти этих собутыльников отыскали, собрали и попросили подтвердить факт написания данного документа и опознать почерк пишущего, а также удостоверить ясность его ума, в котором, похоже, впоследствии не родилось ни малейшего соображения насчет наследства. Их засыпали беспощадными вопросами, которые были подобны броскам кобры. «Почему он хотел отдать доктору Ральфу свою новую яхту? А что насчет «Коронас»? Шеф Бадди к тому моменту уже несколько лет как умер, то есть их должен получить его сын? Но молодой Силк не курит. А кто такой Мил Дэдди? Солист группы «Пёрпл тоунз», пояснила Хид. Нет, возразила Мэй, это менеджер группы «Фифс-стрит страттерс», но он в тюрьме, а разве заключенные могут вступать в наследство? Но это же просто пластинки, дура, он нигде не назвал тебя по имени, и что теперь? Он даже не упомянул тебя! И зачем отдавать кабриолет кому-то, кто не умеет водить? А и не надо водить машину, чтобы ее продать! Да это не завещание, а какой-то комикс!» Все сосредоточились на булавках для галстука, сигарах и нынешней цене старых пластинок — и никто не задался главным вопросом: кто же

такая «моя милая малютка Коузи»? Позиция Хид была сильной — ведь она называла мужа Папой. Но с другой стороны, раз, с биологической точки зрения, Кристин была единственной оставшейся «малюткой», ее претензии как кровной родственницы были не менее сильными, чем претензии Хид как вдовы. Или так считали они с Мэй. Но годы, проведенные вне дома, как и отсутствие фактов, свидетельствующих о ее работе на курорте, кроме одного лета в детстве, ослабляли позицию Кристин. Скрывая улыбку, судья исследовал засаленное меню, где его взгляд невольно останавливался на, допустим, капустном салате с дольками ананаса или на фасоли-«мерзавке» в соусе чили, выслушал доводы трех адвокатов и вынес временное (пока не будут представлены вещественные доказательства об обратном) решение, согласно которому Хид признавалась той самой «милой малюткой Коузи», о которой по пьяной лавочке упомянул покойный.

Адвокат Гвендолин Ист, однако, считала иначе, и недавно заверила Кристин, что оснований для подачи апелляции на судебное решение более чем достаточно. В любом случае, по ее словам, есть веские причины для пересмотра даже при том, что никаких иных доказательств так и не

было найдено. А ведь Кристин долгие годы искала такие доказательства — в отеле, в доме — и ничего не находила (за исключением вздорных догадок, рождавшихся в безумной голове Мэй). Если и было что-то иное — неопровержимое, напечатанное на машинке удобочитаемое завещание — оно могло храниться в одном из запертых секретеров Хид за дверью ее спальни, всегда запиравшейся на ночь из страха перед «незваными гостями». Но теперь дело не терпело отлагательств. Больше не было времени ждать, пока та, другая, умрет или, по крайней мере, ее разобьет паралич и она станет недееспособной. Теперь в запутанную ситуацию вмешался третий участник: Хид наняла девушку, чтобы та помогала ей писать мемуары, — так заявила Джуниор Вивиани в тот день за завтраком. Кристин чуть кофе не подавилась при мысли, что слово «писать» каким-то образом должно быть связано с человеком, который ходил, пусть и урывками, в школу на протяжении хотя бы пяти лет. Жуя дольку грейпфрута, Джуниор криво усмехнулась, произнеся *мумуары* — в точности как его произносила малограмотная Хид. «О ее семье», пояснила Джуниор. Какой еще семье? — удивилась Кристин. Об этой стае береговых крыс, которые все мылись в одной

бочке и спали не раздеваясь? Или она еще и претендует на кровное родство с Коузи вдобавок ко владению недвижимостью?» Обдумав все, что ей порассказала девушка, Кристин вернулась к себе, в квартирку прислуги — две жилые комнаты и ванная прямо за стеной кухни, — где раньше обитала Л. В отличие от остального дома, забитого воспоминаниями и старым хламом, здесь всегда царил покой, не нарушаемый бесполезной рухлядью, и это успокаивало нервы. Если не считать горшков с растениями, спасенными однажды от непогоды, эта квартирка выглядела точно так же, как и пятьдесят лет назад, когда маленькая Кристин спряталась под кроватью Л. Поливая из лейки бегонию, она так и не смогла придумать новую линию поведения — и решила обратиться за консультацией к адвокату. Она подождала, пока не пришел Ромен, а Джуниор не скрылась на третьем этаже. Раньше, за завтраком, переодевшись в то, что, видимо, одолжила ей Хид (красный костюм, который вышел из моды еще во времена Корейской войны[33]), Джуниор выглядела точно мигрант, облагодетельствованный Армией спасения. От ее вчерашнего наряда

[33] Примечания: 33

Конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 1950-го по 1953 г.

остались только сапоги на каблуках, а кожаная куртка исчезла, как и характерное для уличной бродяжки амбре, распространившееся вчера по всему дому. Увидев, что Ромен слоняется по двору и изучает ущерб, нанесенный заморозками кустам, Кристин позвала мальчишку помочь ей открыть дверь гаража, заледеневшую с ночи, а потом попросила помыть машину. Когда он закончил, она выехала за ограду и газанула, стремительно набирая скорость: ей надо было успеть попасть на прием к Гвендолин Ист до закрытия ее офиса.

История перипетий Кристин с законом была слишком богатой, чтобы не сомневаться: доверять Гвендолин нельзя. Адвокатесса, возможно, хорошо разбиралась в судах и судьях, но она ничего не знала о полиции — а от них жди или помощи, или беды задолго до встречи с адвокатом. Полицейские, которые увезли ее от изуродованного «Кадиллака», вели себя с ней как шеф Бадди Силк: вежливо, уважительно, будто ее буйство было не только понятным, но и оправданным. Они отнеслись к ней как к женщине, которая изувечила педофила, а не чужую машину. Наручниками ей сковали руки спереди, а не за спиной — и несильно сдавили запястья.

Когда она села в патрульную машину, сержант предложил зажечь ей сигарету и вынул из ее волос осколок автомобильной фары. Ни один не ущипнул ее за соски и не пустился рассуждать о том, что минет — отличный способ восстановить справедливость в межрасовых отношениях. Это случилось только единственный раз, когда она была готова совершить убийство, держа при этом в руке молоток, а не нож, а они обращались с ней как с белой. Во время других четырех арестов — за поджог, за организацию беспорядков, за воспрепятствование уличному движению и за сопротивление при аресте — в руке у нее не было смертельного оружия, но обращались с ней как с мусором.

Подумать только — все ее серьезные романы завершались одинаково: тем, что она попадала в тюрьму. Сначала был Эрни Холдер, за кого она выскочила в семнадцать лет, — с ним ее арестовали в подпольном развлекательном клубе. Потом был Фрукт, чьи брошюрки она распространяла на улице и с кем прожила дольше всего, и отсидела тридцать дней от звонка до звонка за организацию массовых беспорядков. А потом рекой полились новые любовные связи с неизменно драматическим финалом, для которого у зако-

на всегда находились нужные наименования: сквернословить означало «нападение на полицейского», вырываться из рук полицейского во время надевания наручников — «сопротивление при аресте»; бросить сигарету в сторону патрульной машины — «заговор с целью поджога»; убежать через улицу от конного полицейского — «создание препятствий уличному движению». И наконец доктор Рио. «Кадиллак». Молоток. Беззлобный, почти неохотный арест. Потом час ожидания в участке, но ни предъявления обвинений, ни составления протокола, ни допроса: ей вернули ее «уолмартовский» пакет с вещами и отпустили на все четыре стороны.

«Куда теперь?» — думала Кристин, бредя по улице. Накануне ее грубо вышвырнули из ее (его!) квартиры, впустив туда ровно на две минуты, чтобы она забрала свою сумочку. Было сказано: одежду из помещения не выносить, но ей хотя бы позволили взять кое-какое нижнее белье и косметичку, где лежали серебряная ложка и кольца с бриллиантами, — о чем нанятые адвокатом головорезы не ведали. Помимо колец, которые она не сдала бы в ломбард, даже если бы ей грозила голодная смерть, там лежала недавно аннулированная кредитка «Мастеркард», семь долларов

бумажками и мелочь. Она чувствовала себя такой одинокой — словно маленькая девочка, молча глядящая, как волны прибоя обгладывают выстроенный ею на песке замок. Никто из ее близких подруг не рискнул бы вызвать неудовольствие доктора Рио, а не очень близкие тихо посмеивались над ее крахом. И она отправилась в заведение Манилы и уговорила ее впустить к себе. Только на несколько дней. Забесплатно. Это была авантюрная и даже наглая просьба, потому что у Манилы был не бордель, как некоторые ханжи называли ее пансион. Она просто сдавала комнаты нуждающимся женщинам. Брошенным, отчаявшимся, переживающим трудный период в жизни. И Маниле не было дела до того, что эти женщины регулярно приводили к себе гостей или переживали «трудный период» в течение многих лет.

В 1947 году Кристин вполне соответствовала всем этим критериям. И водитель автобуса, направивший ее в дом номер 187 на Секонд-стрит — «рядом со стекольным заводом, ищи розовую дверь», — то ли этого не понял, то ли, наоборот, очень хорошо понял. Она спросила у него, не сдает ли тут кто поблизости меблированные комнаты, и он дал ей адрес Манилы. При всей

разнице между ее белыми перчатками, изящной шляпкой, скромным жемчужным ожерельем и безупречным белым воротничком и нарядами девочек Манилы, ее отчаяние было под стать их отчаянию. Когда она, выйдя из такси в половине десятого утра, впервые увидела этот дом, он показался ей идеальным. Тишина. Чистота. Манила улыбнулась при виде четырех чемоданов и просто сказала: «Ну, входи». Она сообщила о расценках, правилах проживания и о политике пансиона в отношении визитеров. Только к обеду Кристин догадалась, что под «визитерами» подразумевалась клиентура девочек.

Она даже удивилась, как мало ее шокировало все происходящее. Она планировала найти работу секретаря или, еще лучше, какую-нибудь высокооплачиваемую по послевоенным меркам работу на фабрике. Не успев забыть запоздалого банкета в честь ее шестнадцатилетия и окончания школы Мэйпл-Вэлли, она после долгих скитаний очутилась в месте, которое ее мама назвала бы «вонючим борделем» (она так выражалась, когда восклицала: «Он что, хочет превратить это место в…?»). Кристин только нервно рассмеялась. Это территория Красотки, подумала она, вспомнив женщину со шрамом,

которая однажды встретилась ей на берегу. Девочки стайкой прошествовали из столовой в гостиную, где сидела Кристин, и, рассмотрев ее одежду, стали переговариваться между собой, но не с ней. Это напомнило, как ее приняли в Мэйпл-Вэлли: сначала равнодушный, но тщательный осмотр, потом осторожные, слегка враждебные вопросы. Когда девочки Манилы вступили с ней в беседу: «Ты откуда? Симпатичная шляпка! Классные туфли! И где ж ты такие купила? Шикарные волосы!» — сходство стало еще больше. Самые молоденькие пустились обсуждать свою внешность и парней, те, что постарше, делились язвительными советами на обе темы. Как и в Мэйпл-Вэлли, все тут играли роли, а матрона руководила спектаклем. Она побывала везде, не пропустила ничего. Школа Мэйпл-Вэлли, отель Коузи, бордель Манилы — все три заведения были пропитаны нескрываемой сексуальностью и скрытой неприязнью, во всех трех приветствовалась изоляция от внешнего мира, и во всех трех статус определялся деньгами. И все три были созданы с учетом насущных потребностей мужчин. На второе бегство, спровоцированное внезапно возникшими опасностями в домашней жизни, Кристин сподвигла мечта о личном про-

странстве, о независимости. Ей хотелось самой диктовать правила, самой выбирать себе друзей, самой зарабатывать и распоряжаться своими деньгами. Только из-за этого, как ей думалось, она никогда не останется у Манилы, но разве можно знать заранее свое будущее, ведь цветной девушке с образованием в 1940-е годы было некуда податься, кроме как замуж, это же ясно как божий день — вот что внушал ей Эрни Холдер той ночью. Прощай, независимость! Прощай, личное пространство! И он забрал ее оттуда и ввел в жизнь, организованную совсем иначе: где личное пространство было минимальным, где все подчинялось чужим правилам и где выбора у нее не оставалось никакого, — в огромное, безраздельно мужское сообщество.

Рядовой первого класса Эрнест Холдер заглянул к Маниле с намерением купить озорные утехи, но вместо этого наткнулся на красивую девушку в костюме цвета морской волны и в жемчугах, лежавшую на софе с журналом «Лайф». Кристин приняла его приглашение на ужин. К десерту у них уже созрели планы. Страсть вспыхнула так стремительно, что казалась судьбой. В их личных отношениях были приятные моменты. А в браке? Да какой это брак — так, смех один.

Кристин припарковалась и отогнула солнцезащитный щиток, чтобы осмотреть себя в зеркальце: достаточно ли презентабельно она выглядит. Она это сделала не инстинктивно, а памятуя тот случай перед своим первым визитом к Гвендолин Ист. Собравшись уже войти в здание, она ощутила на плече чье-то прикосновение. Перед ней стояла, ухмыляясь во весь рот, женщина в бейсболке и спортивном костюме.

— Ты не Кристин Коузи?

— Да, это я.

— Так и знала. Я когда-то работала у Коузи в отеле. Очень давно.

— Неужели!

— Я тебя помню. Лучшие ножки на пляже. Боже ты мой, какая же ты была тогда красавица! Какая кожа, какие чудные волосы. И глазищи — они все такие же. О, ты была та еще хитрюга! Ничего, что я тебе это говорю?

— Нет, конечно, — ответила Кристин. — Уродки знают толк в красоте. А что им еще остается?

Она не обернулась посмотреть, плюнула ей женщина вслед или рассмеялась. Но после того случая, перед очередным визитом к адвокату, она всегда разглядывала себя в зеркале. Так и теперь. «Чудные волосы» требовали вмешательства

ножниц и фена — их надо было привести в порядок. Кожа пока еще без единой морщинки, но «глазищи», которые дерзко стреляли по сторонам и никогда не затуманивались задумчивостью, показались ей чужими.

Гвендолин Ист была ей не рада. Смысл приема в офисе заключался в том, что все визиты клиентов четко расписаны по часам. Появление Кристин было похоже на непредвиденное вторжение.

— Нам надо действовать, — изрекла Кристин, пододвигая стул поближе к письменному столу. — Там что-то происходит.

— Прошу прощения, вы о чем? — удивилась Гвендолин.

— О завещании. Ее надо остановить.

Гвендолин решила, что поощрять бесцеремонную клиентку не стоит: на горизонте еще даже не замаячил гонорар за урегулирование финансовых претензий.

— Послушайте, Кристин, как вы знаете, я вас поддерживаю, и судья тоже может встать на вашу сторону. Но вы живете в этом доме, ренту не платите, никаких расходов не несете. Это же факт: можно сказать, что миссис Коузи взяла на себя все заботы о вашем содержании, хотя у нее перед вами нет никаких обязательств. И вы уже

пользуетесь преимуществом владения собственностью. Если не сказать больше.

— Да о чем вы говорите! Она же в любой день может выставить меня на улицу, если захочет.

— Верно, — ответила Гвендолин. — Но она же этого не делала двадцать лет. Чем вы это объясняете?

— Рабством — вот чем я это объясняю.

— Перестаньте, Кристин! — нахмурилась Гвендолин. — Вы не живете в приюте для престарелых или на пособие.

— Пособие? Пособие! — сначала прошептала, а потом прокричала Кристин. — Послушайте… Если она сдохнет, кто получит этот дом?

— Тот, кого она укажет в завещании.

— Типа брат, или племянник, или кузен, или местная больница, так?

— Кто угодно.

— То есть не обязательно я, так?

— Только если она того пожелает.

— Значит, нет смысла ее убивать?

— Кристин, да вы шутница!

— А теперь послушайте меня! Она только что кое-кого наняла. Девушку. Совсем молоденькую. Я ей больше не нужна!

— Так, — задумалась Гвендолин. — Как вам ка-

жется, она согласится заключить с вами договор об аренде? Документ, который будет гарантировать вам пожизненное проживание в доме и определенное материальное обеспечение в обмен на… оказание ей услуг?

Кристин откинула голову назад и стала изучать потолок, словно искала там какие-то новые слова, чтобы адвокатша наконец ее поняла. Ведь то, что она намеревалась ей сказать, было не так-то и сложно сформулировать. В конце концов, мисс Ист сама выросла в Ап-Бич, она была внучкой той работницы с консервного завода, у которой на работе случился инсульт. Она заговорила, медленно постукивая пальцем по письменному столу, чтобы выделить каждое слово:

— Я — последняя и единственная кровная родственница Уильяма Коузи. Я бесплатно вела хозяйство, я обслуживала его вдову в течение двадцати лет. Готовила ей пищу, убирала дом, стирала ее исподнее и постельное белье, ходила за покупками…

— Я это знаю.

— Ничего вы не знаете! Ничего! Она меня выживает!

— Погодите…

— Выживает! Так было всю жизнь, как вы не

поймете? Она хочет меня выжить, избавиться от меня! Я всегда на последнем месте. Вечно мне говорят: уходи, убирайся!

— Кристин, прошу вас…

— Это мой родной дом! В этом доме справляли мое шестнадцатилетие! И когда я уехала в школу, туда приходили все мои письма. Это мое по праву, и никто не смеет размахивать у меня перед носом замызганным меню и выставлять меня вон!

— Но вы многие годы не появлялись на этой жилплощади…

— Да пошла ты! Если ты не понимаешь разницы между жилплощадью и родным домом, тебе надо плюнуть в рожу, ты — дура, бестолочь, шваль с консервного завода! Ты уволена!

Жила-была маленькая девочка с белыми бантиками на четырех косичках. У нее была своя собственная спальня под чердаком большого отеля. На обоях спальни цвели незабудки. Иногда она позволяла новой подружке переночевать в этой спальне, и они до икоты хохотали, укрывшись одеялом.

А потом однажды пришла мама и объявила, что ей придется оставить свою спальню с незабудками и спать в крохотной комнатушке на другом этаже. А когда она спросила маму почему,

та ответила, что для ее пользы. В жизни есть вещи, которые ей не стоит ни видеть, ни слышать, ни знать.

И маленькая девочка сбежала. Много часов она шагала по дороге, вдыхая запах апельсинов, пока мужчина в шляпе с большими полями и блестящим значком не нашел ее и не отвез обратно домой. Дома она потребовала вернуть ее в спальню с незабудками. Мама согласилась, но ночью запирала спальню на замок, чтобы девочка не могла выйти. А потом, очень скоро, ее отправили далеко-далеко, подальше от вещей, которые ей не надо было видеть, слышать и знать.

Кроме мужчины в широкополой шляпе и со значком, никто не видел ее слез. Никто и никогда. Даже теперь ее «глазищи» оставались сухими. Но они впервые в жизни разглядели коварство мира, хорошо знакомое ее маме. Кристин возненавидела маму за то, что та выгнала ее из спальни и, когда шеф Бадди привез ее обратно, наградила дочку такой размашистой оплеухой, что ее подбородочек больно ударился о плечо. Из-за этой оплеухи девочка спряталась под кровать Л. и просидела там два дня, после чего ее отправили в закрытую школу Мэйпл-Вэлли, где она томилась много лет и где такой матери, как Мэй, можно

было только стыдиться. Учителей в Мэйпл-Вэлли не на шутку встревожили тогдашние негры-активисты, но их просто передергивало, когда они читали путаные письма Мэй, которыми та бомбардировала газету «Атланта дейли уорлд», о «чести белых» и бессмысленности «рейсов свободы»[34]. Кристин была только рада, что ее контакты с мамой ограничивались письмами, которые можно спрятать или порвать. Кроме сплетен о каких-то знаменитостях, поселившихся у них в отеле, там не было ничего интересного для тринадцатилетней девочки, старавшейся быть в школе на хорошем счету, и с годами она все меньше понимала смысл маминых словесных излияний. Теперь Кристин могла посмеяться над своим невежеством, но тогда-то ей казалось, что Мэй пишет шифром: КОРА[35] проводит сидячую забастовку в Чикаго (и кто такая эта Кора?), Муссолини подал в отставку (кому подал?), Детройт в огне. Это Гитлер убил Рузвельта или Рузвельт убил Гитлера (оба умерли в один и тот же месяц)?

---

[34] Примечания: 34

Так в 1950–1960-е гг. называли совместные автобусные поездки белых и чернокожих активистов в южных штатах США, протестующих против сегрегации в рейсовых автобусах.

[35] Примечания: 35

Студенческая ассоциация («конгресс»), в 1960-е гг. пропагандировавшая расовое равенство.

Большинство же маминых писем рассказывали о том, что вытворяет Хид: плетет интриги и заговоры… Только сейчас она наконец-то поняла маму. Мир, который знала Мэй, всегда рушился, и она никогда не чувствовала себя в безопасности. Дочь бедного, вечно голодного проповедника, Мэй была уверена, что в ее жизни все зависит от чернокожих, которые «раскачивали лодки» разве что только в море. Главные события для нее начались в 1942 году: второй брак ее свекра — как гром среди ясного неба, и потом все завертелось, во время войны и после войны, пока она, дезориентированная непрекращающейся борьбой с враждебными элементами в стенах своего дома и вне его стен, не превратилась в мишень для глумления.

И все же, думала Кристин, ее инстинкты, если не ее методы, были верными. Привычный ей мир подвергся вторжению, оккупации, изничтожению. Если не быть всегда настороже и не держать постоянную оборону, мир вообще от тебя ускользал, заставляя твое сердце тревожно биться, а кровь пульсировать в висках, и тебе приходилось вновь убегать по дороге, утратившей цитрусовый аромат.

Все считали ее мать умалишенной и гадали,

в чем причина: в раннем ли вдовстве, переутомлении от работы, отсутствии секса или в Студенческом координационном комитете ненасильственных действий[36]. Но дело было в другом. Все проблемы Мэй были от четкости ее мыслей. К 1971 году, когда Кристин вернулась домой на похороны Коузи, мать уже давно оттачила эту свою способность. Четкость мышления из обычной проницательности, которую все вокруг считали клептоманией, превратилась в гениальную прозорливость. Она покрыла окна в своей спальне выкрашенной в красный цвет фанерой, которая предупреждала об опасности. Она разводила сигнальные костры на пляже. Она затеяла скандал с шерифом Силком, когда тот не выдал ей разрешение на покупку пистолета. Отец шерифа, шеф Силк, разрешил бы ей, но у его сына было другое мнение о вооруженных неграх, пускай и он, и она готовы были пристрелить одних и тех же смутьянов. Только теперь Кристин осознала, насколько же глубоко Мэй поняла суть сложившейся ситуации. Она была права в 1971 году, когда потешалась над курткой Кристин в стиле «милитари» и ее беретом а-ля

[36] Примечания: 36

Студенческая организация, выступавшая в тот же период против расовой сегрегации в американских учебных заведениях.

Че Гевара, черными лосинами и мини-юбкой. С ее-то острым, как у тигра, зрением Мэй сразу распознала реальную причину смены образа, стоило ей только взглянуть на ее нелепый наряд. Люди над ней смеялись? Ну и что! Армейская каска, которую тогда стала носить Мэй, была выражением ее искренней позиции и мощным манифестом. Даже на похоронах, уступив увещеваниям Л., заставившей ее снять черный шарф, она сунула его под мышку, ведь, что бы там ни думала тогда Кристин, в любую минуту могла потребоваться защита в оккупированной врагом зоне, где жила тогда Мэй, а сейчас — Кристин. И в этой зоне готовность к бою была лучшей обороной. И снова, в который уже раз, Кристин ощутила болезненную горечь прошлых двадцати лет: как ей приходилось бегать вверх-вниз по лестнице с блюдами для Хид, которые она лишь из гордости не могла испортить, и окунаться в волны разных парфюмерных ароматов, стараясь не вздрогнуть под взглядом насмешливых глаз на портрете, висевшем над несуразной кроватью, и собирать грязную одежду Хид, и мыть после нее ванну, выковыривая ее волосы из сливного отверстия, — уж если это не ад, то определенно его преддверие.

Хид давно вынашивала идею избавиться от Мэй, но останавливало ее лишь осуждение Л., куда более суровое, чем у Коузи. Когда прочитали те записульки на меню, объявленные «завещанием», и «жена Билли-младшего» получила отель, Хид так и взлетела со стула.

— Что, этой чокнутой? Он оставил наш бизнес чокнутой?

Разгорелся неприятный скандал, и все принялись осыпать друг друга оскорблениями, пока адвокат не хлопнул ладонью по столу и не заверил Хид, что никто не будет (сможет?) возражать, если отелем продолжит управлять она. Она была там нужна, и, кроме того, муж завещал ей дом и деньги в банке. И тут Мэй, поправив каску на голове, заявила:

— Простите, и как это, черт побери, понимать!

Последовавшая затем перепалка оказалась изощренной версией тех многочисленных поединков, которые уже не раз вспыхивали между обеими: при этом каждая заявляла о том, что ее пытаются выжить из дома, что только ей принадлежит безраздельное право на преданную любовь покойного и что только она «спасла» Коузи от некой катастрофы или уберегла от неминуемой беды. Единственное, что отличало ту

схватку накануне похорон от других, было присутствие Л., чье невозмутимое молчание казалось тогда ледяным, потому что ее лицо не выражало ничего — ни эмоций, ни сочувствия, — и она, похоже, не слышала ни слова. Воспользовавшись явным безразличием Л., Хид кричала, что людям с неуравновешенной психикой должно быть запрещено вступать в наследство, так как им нужна *префоссиональная* помощь. И только прибытие гробовщика, объявившего, что всем надо срочно отправляться в церковь, удержало Кристин от кулачного боя. Но лишь на время, потому что позднее, у разверстой могилы, увидев слезы Хид и ее притворно сотрясающиеся плечики, и то, как местные утешают ее как единственную скорбящую, а их, двух настоящих родственниц Коузи, третируют как незваных гостей, и обозлившись, что ее попытка надеть бриллиантовые кольца на пальцы Коузи была пресечена, — Кристин взорвалась. Она полезла в карман и прыгнула на Хид с высоко поднятой рукой, которую внезапно очнувшаяся Л. схватила и завернула ей за спину.

— Все расскажу! — прошипела Л. то ли одной, то ли другой, то ли никому конкретно. И Хид, ткнувшись лбом в лицо Кристин, когда почувствовала, что это уже не опасно, сразу же отскочила назад.

Л. никогда не бросала слов на ветер. В невеселой жизни Кристин было много такого, чего она бы предпочла не выволакивать на публику. Неприязнь она еще могла стерпеть, даже насмешки. Но не жалость. Испугавшись, она убрала нож и скрыла ярость под ледяным взглядом. А вот Хид — отчего она так быстро сдалась? Ей-то чего бояться? Мэй мигом поняла, что требуется, и немедленно встала на сторону дочери. Вмешавшись в схватку двух кошек, она сдернула с головы Хид шляпку в стиле «Унесенных ветром» и подбросила в воздух. Прекрасно! Чей-то смешок разрядил обстановку, и пока Хид ловила шляпку, Кристин остыла.

Эгоистичное равнодушие к ритуалу, приличествующему покойнику, которого, как уверяли родственники, все они так почитали, разозлило присутствующих, о чем те не преминули заявить. Но они не заявили о том, какой восторг у них вызвала кладбищенская мизансцена — с беретом, шляпкой и каской. Но в тот момент, когда Мэй сорвала с Хид ее дурацкую шляпку, лишив эту лжекоролеву короны на глазах у всех, ее прямота явилась во всем своем блеске. В точности как и в прошлый раз, когда она сделала все, чтобы разлучить обеих в детстве. Она инстинктивно сразу

поняла, что вторгшаяся гостья — змея, стремящаяся испортить, отравить и проглотить их мир.

Если верить письмам Мэй, уже в 1960 году Хид пыталась отправить ее в дом престарелых или психушку. Но что бы Хид ни предпринимала, — распространяя ли лживые слухи о невестке, или приписывая ей возмутительные выходки, или жалуясь на нее психиатрам, — она не могла изгнать Мэй из дома. И находясь под неусыпным присмотром Л. и не имея сообщников, Хид потерпела неудачу. Ей пришлось смириться с обезоруживающей прямотой женщины, которая ненавидела ее так же люто, как и Кристин. Со смертью Коузи война Мэй не окончилась. Свой последний год она провела, с радостью наблюдая, как загребущие ручонки Хид медленно скрючиваются в куриные крылышки. И все же найденный Хид способ решить свои проблемы с Мэй оказался весьма хорош, а удачная идея, хотя и нацеленная не на того человека, остается не менее удачной. К тому же Л. давно покинула дом Коузи и не могла ей помешать. Лечебницы стали более доступными. Плюс у Хид мог появиться сообщник, которого она бы сумела уговорить на что угодно.

Бедная мама. Бедная старая Мэй. Продолжать

жить и оберегать то, что принадлежало ей, и для этого пускаясь на отчаянные, на грани безумия, хитрости. Муж умер, в ветшающем отеле хозяйничает оголтелая алчная крыса, мужчина, на кого она как рабыня ишачила всю жизнь, полностью ее игнорирует, дочь ее бросила, увлекшись завиральными идеями, и она сделалась объектом всеобщих насмешек — ни жить негде, ни руководить некем. Но она приняла войну, развязанную против нее, и сражалась в одиночку. В бункерах, возведенных ею по собственной инициативе. В окопах, вырытых ею рядом с сигнальными кострами на краю океана. Одинокая, не понятая никем умница, которая сформировала и контролировала среду своего обитания. Теперь, думая об этом, Кристин осознала, что ее беспорядочная жизнь — прямой результат собственной лени, эмоциональной лени. Она всегда считала себя несгибаемой, деятельной, но, в отличие от Мэй, оказалась лишь мотором, который повинуется руке шофера, переключающего скорости.

Больше этому не бывать.

Океан — вот кто теперь мой мужчина. Он знает, когда отступить и опустить плечи, когда замолчать и просто смотреть на женщину. Он умеет лицемерить, но у него нелживое сердце. Его

душа глубоко-глубоко — и страдает. Я изучаю его и все про него знаю. Такое понимание приходит только с долгой практикой, а уж с мистером Коузи практики у меня было выше крыши. Вы скажете: я измерила глубину его души. Не сразу, конечно. Я же была девчонкой, когда пошла работать к нему — взрослому мужчине, с сыном и больной женой, которой требовался постоянный уход, днем и ночью. Он произносил ее имя — Джулия — так тихо, что вы сразу могли расслышать в его голосе и нежность, и чувство вины. Их сыну Билли-младшему было двенадцать, когда Джулия Коузи скончалась, и хотя мне тогда было всего четырнадцать, я сочла вполне естественным остаться у них в доме и ухаживать за обоими. Только такое огромное сердце, как у него, могло настолько сильно любить жену и не растратить всю любовь, и в этом сердце осталось место для другой любви. Когда Джулия умерла, мистер Коузи перенес всю свою любовь на сына. На его удачу, мальчик обладал той проницательностью, которой смышленые дети пользуются при общении со взрослыми, желая подчеркнуть свою значимость. Не делая того, что говорят им взрослые, а угадывая, что взрослые от них хотят. Отец может сказать сыну: «Позаботься об этом сам,

парень», а на самом деле это значит: «Нечего пускать мне пыль в глаза, иди сделай, и пусть у тебя ничего не получится!» Или он может пообещать: «Я научу тебя жизни», что значит: «Я тебя боюсь до смерти». Уж не знаю, что именно говорил мистер Коузи своему сыну в таком же духе, но что бы то ни было, Билли-младший понял это так: «Стань кем-то, чтобы я гордился тобой каждый день, подари мне какую-то радость, пока я тут изо всех сил гребу как раб на галерах!»

Так что дело не в том, был ли он хорошим сыном или очень плохим. Ему надо было быть просто интересным. Подозреваю, что он решил быть хорошим по чистой случайности. Мистера Коузи восхищало все, что бы ни делал и ни говорил Билли-младший. Он никаких денег для него не жалел, всюду таскал с собой. Мальчик и волосы расчесывал на прямой пробор, как отец, и кепку носил такую же, как у отца, — они чудно смотрелись вместе. Пока одного стригли в парикмахерской, другой в это время забавлял клиентов в очереди; они всегда сидели рядом — и на трибуне, болея за «Игл», и на стульчиках на певческих конкурсах, и за узкими столами в сельских забегаловках, где выступали молодые музыканты. Они ночевали в меблированных ком-

натах или просто заходили туда поболтать с постояльцами. По словам мистера Коузи, он хотел, чтобы Билли-младший побольше наблюдал за работой мужчин и видел, как они дорожат своим ремеслом. Поэтому они ездили на Пердидо-стрит послушать Кинга Оливера, в Мемфис — на «Тайгерс», в Бирмингем — на «Бэронс». Он водил его смотреть, как повара придирчиво выбирают продукты на рынке, как рыбаки сортируют устриц, как работают бармены, бильярдисты, уличные карманники и церковные певцы. И все это были уроки труда, преподанные человеком, который гордился своими умениями. Мистер Коузи говорил, что это и есть настоящее образование, которое может дать мальчику только жизнь. Но по мне, это выглядело как прогул школы его отца. Как способ забыть уроки, которые вдалбливал ему Дурак.

Повышенное внимание не испортило мальчишку. Он знал свою основную обязанность и всегда выполнял ее на пятерку: он только застенчиво улыбался, когда его отец бахвалился успехами сына перед скучающими приятелями. Бахвалился его умением кидать мяч, его хладнокровием в минуту опасности. И как он ловко, лучше любого врача, вытащил согнутый крючок из щеки незна-

комой девочки. Я это видела своими глазами. Однажды я принесла им на пляж обед — они там забавлялись: бейсбольными битами запускали камешки в океан. А неподалеку от них стояла девчушка лет девяти-десяти с удочкой в руке. Кого она надеялась там поймать? Да кто ж знает. Чешуйчатые не водятся так близко от берега. Налетевший порыв ветра подбросил леску, и самодельный крючок впился ей в щеку. Ее пальчики были все в крови, когда Билли-младший к ней подбежал. Он ловко выдернул крючок, а она, не проронив ни слезинки, ни всхлипа, поблагодарила его, прижав ладошку к щеке. Но мы все равно отвели ее в отель, я усадила ее в беседке, промыла ранку на щеке, намазала смесью сока алоэ и меда и подумала, что она уже большая и столбняк ей не грозит. Со временем, как обычно, мистер Кроузи начал расцвечивать это происшествие все новыми подробностями. В зависимости от его настроения и аудитории он подавал эту историю так, будто если бы не Билли-младший, девочку уволокла бы в воду меч-рыба. Или что сын аккуратно вынул крючок у девочки из века. Билли только посмеивался над этими россказнями. Он всегда и во всем следовал советам отца, в том числе и в выборе невесты: жениться, мол, надо

на преданной, не расчетливой девушке. И Билли-младший выбрал Мэй, которая, как всем было ясно, никогда бы не встала между отцом и сыном и не посягнула бы на скреплявшие их узы. Мистер Коузи поначалу сильно встревожился, не одобрив выбор сына, но успокоился, увидев, что невеста восхищена отелем и что она демонстрирует понимание потребностей незаурядных мужчин. И если я в отеле была прислугой, то Мэй — рабыней. Вся ее жизнь заключалась в том, чтобы исполнять любую прихоть мужчин Коузи. Больше отца, чем сына. Больше отца, чем собственной дочери. А чего желал мистер Коузи, вдовец, того в 1930 году было невозможно исполнить. В тот год вся страна стала жить на государственные пособия, как жили в Ап-Бич все — кому, конечно, повезло. А кому не повезло, те кончали с собой или отправлялись бродяжничать. Но мистер Коузи воспользовался ситуацией. Он выкупил разорившийся клуб «только для белых» в Сукер-Бей у человека, которому хватило честности признаться, что хоть он и поклялся господу и папаше никогда не продавать свое заведение черномазым, он рад-радешенек нарушить данную клятву и увезти свою семью подальше от этой загаженной птицами и продуваемой ураганными

ветрами дыры.

И кто мог подумать, что в самый разгар Депрессии цветным захочется исполнять музыку, а если так, то кто будет за это платить? Мистер Коузи — вот кто! Потому что он знал то, что было ведомо любому уличному музыканту: там, где музыка, — там всегда деньги. А если сомневаетесь, зайдите в любую церковь. И еще он кое во что верил. Если с цветными музыкантами хорошо обходиться, хорошо им платить и хвалить, они всем разболтают о замечательном заведении, куда их впускают через парадный вход, а не через служебную дверь, где они едят в общем зале, а не на кухне, сидят за одним столом с посетителями, спят на кроватях, а не в грузовиках, не в автобусах и не в борделях на окраине. О заведении, где их инструменты всегда в целости и сохранности, коктейли не разводят водой, а их талант так ценят, что им незачем ехать через океан в Копенгаген или Париж в поисках славы. Толпы цветных будут рады платить только за то, чтобы окунуться в такую атмосферу. Те, у кого есть деньги, были готовы их тратить, те, у кого их не было, стремились их найти. Приятно думать, будто все негры обречены на нищету, и считать тех, кто не беден, кто хорошо зарабатывает

и умеет сберечь заработанное, чудесным, но постыдным исключением. Цветным нравилось так думать, потому что в те дни они верили в бедность, они почитали ее за добродетель и верный признак честной жизни. А у кого денег куры не клюют — те, мол, мечены печатью зла и обагрены чужой кровью. Но мистеру Коузи было на это плевать. Ему хотелось создать развлекательное заведение для тех, кто думал так же, как он, и кто искал способ опровергнуть историю своего народа.

Но там все должно было быть по-особенному: вечернее платье к ужину, спортивный костюм для спортивной площадки. И никаких кричащих нарядов. Цветы в спальнях, хрусталь на обеденных столах. Музыка, танцы, а если пожелаете, можете уединиться за карточным столом, где играли на деньги только близкие друзья — музыканты, врачи, которым доставляло удовольствие проигрывать за вечер столько, сколько другие не могли заработать и за год. Мистер Коузи был тогда на седьмом небе. Он обожал стиль Джорджа Рафта[37] *и гангстерские лимузины, но сердце у него было доброе, как у Санта-Клауса.*

---

[37] Примечания: 37

Джордж Рафт (1901–1980) — американский киноактер; прославился исполнением ролей гангстеров в боевиках 1930–1940-х гг.

Если семья не могла оплатить похороны, он имел приватную беседу с гробовщиком. Его дружба с шерифом спасла многих юных правонарушителей от наручников. Долгие годы, никому не говоря ни слова, он оплачивал лечение женщины после инсульта и колледж ее внучки. В те времена преданность перевешивала зависть, и отель купался в лучах его славы.

Мэй, покладистая дочка проповедника, воспитывалась в привычке к тяжелому труду и семейному долгу, и она со рвением принялась за дело — трудилась как пчелка. Сначала мы вдвоем рулили на кухне, а Билли-младший отвечал за бар. Но когда выяснилась, что королева плиты все-таки я, она переключилась на горничных, бухгалтерию, закупки, а ее муж теперь заключал контракты с музыкантами. По мне, так половина заслуг в растущей популярности курорта по праву принадлежала мне. Изысканная кухня и Фэтс Уоллер[38] — такое сочетание выпадает раз в жизни. Правда, и Мэй надо отдать должное. Она все держала в своих руках: следила за чистотой белья, оплачивала счета, контролировала работу прислуги. Мы с ней были как механизм часов.

---

[38] Примечания: 38

Томас Райт «Фэтс» Уоллер (1904–1943) — звезда американского джаза эпохи свинга.

А мистер Коузи — как циферблат и стрелки, показывающие точное время.

Пока мы вдвоем отвечали за хозяйство, все шло прекрасно. Но как только на сцене появились девчонки — Кристин и Хид, — тут все и пошло наперекосяк. О, да я наслышана про все эти «причины»: и вонь с консервного завода, и движение за гражданские права, и отмену сегрегации. И правда, что в поведении Мэй появились странности после 1955 года, когда тот паренек из Чикаго попытался вести себя по-мужски и его забили до смерти. Такой ответ дали в штате Миссисипи на десегрегацию и всякое такое прочее, что уязвляло их самолюбие. Нас всех ужаснуло то, что сделали с тем пареньком. У него были такие светлые глаза. А Мэй восприняла это как знамение свыше. И она помчалась на пляж и зарыла в песок не только свидетельство о собственности, но и фонарик, и бог знает что еще. Теперь, по ее словам, любой негр мог разгневать озлобившихся белых, которые только и ждали повода вздернуть кое-кого на дереве и прикрыть наш отель. Мистера Коузи коробили ее бредовые фантазии. Он же был сыном полицейского осведомителя, которого использовали на подтанцовках, поэтому ему пришлось танцевать в полную силу. Но

как бы ни процветал его курорт, удача от него отвернулась задолго до 1955 года. Я предвидела такой поворот уже в 1942 году, когда мистер Коузи еще греб деньги лопатой и в его отель стаями слетались птицы высокого полета. Вон видите то окно? Оно выходило прямехонько на тот рай, который сотворили мы с Мэй, потому как когда умер Билли-младший, мистер Коузи выкупил парикмахерское кресло, в которое они когда-то по очереди садились стричься, и год или больше просидел в нем, вообще ничего не делая. А потом вдруг встрепенулся, заказал новое столовое серебро и принялся помогать нам вести дела в отеле, чтобы не уронить его репутацию. Красивый был, черт! Даже в то время, когда в моду вошли шляпы — ведь мужчина в шляпе так элегантно выглядит! — на него стоило посмотреть. Женщины на мистера Коузи так и вешались, и я все следила, кого же он подцепит. Двойная «К» на ложках меня тогда сильно обеспокоила, ведь мне-то казалось, что к обычным женщинам он и относится обычно. А если двойная «К» означала «Красотка Коузи», то он вконец сбрендил. Но это ладно — я просто обалдела, когда в 1942 году он-таки сделал свой выбор. Поговаривали, что он очень хотел детей, много детей, чтобы они стали для него тем зер-

калом, которым для него был Билли-младший. А для материнства годилась только нетронутая девица. Покуролесив немного, мистер Коузи попал в самое подходящее место для зачатия детей, но самое неподходящее для поисков девственницы. Ап-Бич, где на всех могилах местных женщин можно было бы написать: «Умерла родами». Женитьба на Хид выбила первый камень из прочного фундамента, возвестив о грядущем разрушении. Поймите, он же выбрал девочку, которая была за ним зарезервирована. Кого родители никому не пообещали. Эти помоечники сбагрили ее, словно щенка. Нет, если я что-то понимаю в этой жизни, то это они с Кристин принадлежали друг другу. Как бы там ни было, если он и надеялся улучшить фамильную кровь, что уже один раз попытался сделать, ничего у него на этот раз не вышло. Хид так и не подарила ему карапуза, и, как большинство мужчин, он был твердо убежден, что все дело в ней. Он ждал несколько лет, оставаясь верным мужем, но потом возобновил свои загулы и вернулся не к кому-нибудь, а к Красотке. А вы уж решили, что раз у одной из его женщин случился инсульт после ночных игрищ на песке, он перестанет использовать пляж как площадку для своих забав? Не перестал. Он там даже про-

вел свою первую брачную ночь, что доказывает, как ему там нравилось! Причем в любую погоду! Мне тоже.

Комарам моя кровь не по вкусу. Когда-то я была слишком юной и обижалась за это на них, не догадываясь, что неприятие может быть благом. Теперь вы понимаете, почему я так люблю идти домой по берегу, какой бы ненастной ни была погода. Сейчас небо пустое, точно там все стерли ластиком, но раньше Млечный Путь был виден каждую ночь. И от его света все на земле становилось похожим на шикарное черно-белое кино. И кем бы ты ни был по жизни, какое бы настроение у тебя ни было, когда звездное небо становится декорацией твоей ночи, это заставляет тебя ощущать себя богачом. И потом еще океан. Рыбаки говорят, на глубине водятся существа, похожие на свадебные вуалетки и на золотые канаты с рубиновыми глазами. Еще говорят, что есть глубоководные твари, похожие на воротничок платья или зонтик, сшитый из цветов. Вот о чем я думала однажды в жаркую ночь после несостоявшегося банкета по случаю дня рождения Кристин. Иногда, когда мне хотелось, я оставалась ночевать в доме своей матери в Ап-Бич. Туда я и шла в ту ночь, уставшая как собака, когда

увидела мистера Коузи: держа в руках ботинки, он возвращался по песку в отель. А я шла чуть выше, у самой кромки травы, надеясь, что там ветер посильнее и из моей униформы выветрится запах гари и жженого сахара. Он шагал, шлепая босыми ступнями по волнам. Я подняла руку и собралась уже его окликнуть, как что-то — то ли его горделивая осанка, то ли его явное желание остаться незамеченным — меня остановило. Я хотела предупредить его, но, вымотанная и все еще малость не в себе, продолжала молча идти. И потом я увидала еще кое-кого. Женщину, которая сидела на одеяле и обеими руками массировала себе виски. Я стояла и смотрела, как она поднялась и в чем мать родила вошла в океан. Был отлив, и ей пришлось идти довольно долго, пока вода не поднялась ей до талии. Огромные рваные облака неслись по небу, то и дело заслоняя луну, и помню, как екнуло у меня сердце. Полицеглавы как раз вышли на охоту. Они уже утопили двух парней Джонсонов, чуть не убили женщину с консервного завода, и кто бы знал, что у них еще на уме. Но та женщина заходила все глубже в черную воду, и точно вам говорю: она не боялась ни их, ни воды, потому что она выгнула спину и, подняв руки верх, нырнула. Я помню этот ее нырок лучше, чем

вчерашний день. Какое-то время ее не было видно, и я задержала дыхание и не дышала, пока она оставалась под водой. Я вдохнула полной грудью только после того, как она поплыла обратно к мелководью. Она встала во весь рост и снова начала массировать виски. Ее волосы, прямые, когда она входила в воду, теперь распушились короной, приняв форму облаков, заслоняющих луну. А потом — она издала звук. До сих пор не пойму, то ли это было слово, то ли мелодия, то ли вопль. Но помню, что, услышав этот звук, я захотела крикнуть ей в ответ. Хотя вообще-то я всегда нема как рыба. Красотка.

Я не отрицаю ее неувядающую красоту — на нее мужчины вечно оглядывались, — и хотя меня всегда огорчал выбранный ею способ зарабатывать на жизнь, она этим занималась потихоньку, не привлекая внимания: посмотришь на нее — прямо сестра милосердия! Она родилась в семье, где все были законченными шлюхами, хотя, в отличие от них, она никогда не понимала роковой привлекательности золотых зубов. У нее-то зубы были белоснежные. И когда мистер Коузи избавил ее от бремени привычной работы — ну, или немного его облегчил, — ни он, ни она все равно не смогли снять заклятия. И могила не исправила ничего.

Я наблюдаю за своим мужчиной с веранды. В основном вечерами, но и на рассвете, когда видны его могучие плечи в пене прибоя. Тут на пляже когда-то стояли белые плетеные кресла, и, расположившись в них, красивые женщины пили ледяной чай с капелькой «Джека Дэниелса» или «Катти Сарк»[39]*. Теперь ничего нет, вот я и сижу на ступеньках или стою, облокотившись на перила. Если затаить дыхание и внимательно вслушаться, я могу услышать его голос. Вы подумаете, что, раз он такой сильный, у него должен быть бас. Но нет. Мой мужчина поет тенором.*

---

[39] Примечания: 39
«Джек Дэниелс», «Катти Сарк» — сорта виски.

5. Любовница

Сэндлер даже спорить не стал: да, возможно, ему и впрямь почудился этот взгляд, но уж блеск в глазах — точно нет. Это совершенно точно. Хотя Вида ничего такого не заметила. Верным признаком, возразила она, может служить походка внука. Как бы там ни было, оба пришли к заключению, что Ромен с кем-то встречается, а может, даже и проводит время. Им нравились эти слова — «встречается», «проводит время», — которые подразумевали просто встречи, просто прогулки. А не страстное совокупление, после которого у мужчины и возникает этот самый взгляд, это недвусмысленное выражение, которое, по мнению Сэндлера, он и заметил на лице внука: это влажное сияние он сразу же безошибочно распознал. А насчет походки Вида права. У Ромена расправились плечи и появилась размашистая развалочка, сменившая его прежнюю привычку ходить сгорбившись, уткнув глаза в землю. Из всех обуревавших Сэндлера чувств: равнодушие, гордость, тревога, зависть, — его больше уязвляло последнее, отчего он даже попытался

вызвать воспоминания о своей подростковой страсти, этого щита благополучия, выкованного сладким ощущением утомления после секса. Он вспомнил свое первое плавание по морю страсти (теперь оно не вызывало у него былой неловкости): это был неистовый шторм, который не сменился штилем, превратившись в привычное удовольствие. Первое знакомство Ромена с сексом тоже, наверное, стало столь же заветным, сколь и завидным, хотя тут все завершится какой-нибудь глупой выходкой или душевным страданием. Было бы нечестно пытаться сейчас сбить с мальчишки спесь, когда он только-только начал ощущать себя по-новому. Дед считал, что если сейчас задать внуку взбучку — пристыдить, но одновременно поделиться дельным советом, — это, скорее всего, отравит, а не оздоровит его будущие отношения с девушками. И Сэндлер просто наблюдал за новыми черточками в поведении Ромена: тот стал уделять больше внимания личной гигиене, мальчишеский гогот и хихиканье сменила всезнающая усмешка опытного мужчины, а в его интонациях, когда он разговаривал с Видой, появилась вежливая снисходительность. Больше всего деда радовало желание внука следить за своей кожей и отмечен-

ная Видой уверенная пружинистость походки. И еще он с удовлетворением отметил, что Ромен перестал болтать ногой, сидя на стуле, и вечно хвататься за промежность — мерзкая привычка, которая сообщала окружающим скорее о «хочу», чем об «имею». Ну, пусть пораспускает хвост, думал Сэндлер. А иначе всю жизнь будет бегать за каждой юбкой. И в бесконечных поисках повторения своего первого опыта еще чего доброго повторит судьбу Билла Коузи, который массу времени потратил впустую, меняя одну за другой женщин, чьих имен он потом и вспомнить не мог, а взглядов стыдливо избегал. Кроме одной. Если не считать ее, признавался ему Коузи, он ни к кому никогда не был привязан. Его обожаемая первая жена считала увлечения мужа утомительными, а его ненасытность непотребной. И он выбрал себе роль, которую приписывали ему местные женщины, жены отдыхающих и вечно подвыпившие вокалистки, чьих «папиков» он никогда не брал на морские прогулки. Такая роль позволяла его страсти внезапно вспыхивать и затухать, и только свою жену он всегда исключал из списка приглашенных, а она и не возражала. Как выразился однажды Коузи, «когда котята спят, львы выходят охотиться на самок!»

— Вы ошибаетесь, — возразил Сэндлер. — Львы если с кем и спариваются, то на всю жизнь.

— Я тоже, — рассмеявшись, тихо заметил Коузи. — Я тоже.

Может, оно и так, думал Сэндлер, но это спаривание ничуть не изменило ставшие для Коузи привычными холостяцкие замашки, с которыми он после нескольких лет вольной жизни вдовца надеялся покончить, женившись на неопытной девчонке. Которую он мог бы вылепить по своему вкусу. И если бы все вышло по его плану, Коузи вполне мог бы снизить свою рыбацкую активность, ограничившись уловом, пойманным на свой крючок, а не кошелек. Сэндлер полюбил эти рыбалки. Правда, в его двадцать с небольшим ему не больно-то улыбалось приятельствовать со стариком, но коль скоро его собственный отец был очень далеко… Разумеется, беседы с Коузи мало походили на общение с родным отцом, но они быстро утратили первоначальную натянутость. Помнится, как-то, окунув ватный шарик в растопленный свиной жир, Сэндлер усмехнулся и заметил:

— Этому меня отец научил.

Коузи поглядел на наживку и спросил:

— У вас были хорошие отношения?

— Вполне.

— Он жив?

— Да. После смерти мамы уехал на север, сейчас живет у моей сестры. Старики легче уживаются с дочками. Теми проще манипулировать. — Он спохватился и поспешил сгладить неловкость, опасаясь, что его слова могли обидеть Коузи. — Я предлагал ему у нас остаться. То есть мы сейчас живем в его доме. Но он довольно-таки упрямый, хотя его можно понять.

— С отцами бывает непросто, — задумчиво произнес Коузи, вроде бы пропустив мимо ушей замечание о взаимоотношениях старых отцов и молодых дочерей.

— А у вас с отцом все было хорошо. Я слыхал, он оставил вам кучу денег. Это правда?

— Ну, ему же надо было их кому-то оставить.

— У нас с папашей тоже все неплохо, — продолжал Сэндлер. — Не в смысле денег. У него их и не было никогда, но я всегда мог на него положиться. И он знает, что в любой ситуации сможет положиться на меня.

— Я своего ненавидел!

— Неужели? — Сэндлера удивила скорее прямота собеседника, чем его признание.

— Именно так! Он умер на Рождество. Его похо-

роны стали лучшим подарком к празднику.

Вот так они беседовали, когда оставались с глазу на глаз. Однажды Сэндлер был приглашен на знаменитый морской пикник Коузи, после которого он поклялся себе, что больше никогда не поедет снова. Не из-за собравшейся на борту компании: он стеснялся зубоскалить в присутствии белых пожилых мужчин, один из которых был к тому же вооружен; но и рядом с преуспевающими черными он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. На яхте много смеялись, и три или четыре дамы, которые в основном и смешили всех, были милы. Но сама беседа, интонации и фальшь — вот чего он не мог вынести. Непринужденная беседа подпитывала главный обман: притворный мир на борту яхты, вытеснивший на несколько часов мир реальный только для того, чтобы позволить женщинам командовать, а мужчинам ползать вокруг них на брюхе, а черным — оскорблять белых. Но только до момента возвращения к причалу. Когда шериф мог снова нацепить на грудь свой значок и называть цветного врача «пареньком». А женщины снимали красивые туфли, потому что домой их никто не провожал. Одна женщина на том пикнике держалась чуть в стороне, не пила и была немного раздражена.

Ловко пресекая все попытки заигрывать с ней, она не отпускала двусмысленных шуточек, никого не пыталась соблазнить. А когда Сэндлер стал о ней расспрашивать, Коузи изрек:

— Ты можешь жить с кем угодно, если у тебя есть та, с кем ты жить не можешь!

Ясное дело, он имел в виду ту женщину, и Сэндлер потом понял, что на фотографии, с которой был сделан огромный портрет, Коузи смотрит на нее. Когда-то этот портрет висел позади стойки портье, у Виды за спиной, потом — над кроватью Хид Коузи, и Сэндлер узнал бы где угодно это выражение лица и этот взгляд — такой же теперь появился у Ромена, взгляд, сообщающий об обладании первой в его жизни женщиной. Сэндлер знал: очень часто первое обладание так и остается последним, и не дай бог, если мальчишка сейчас прикипит душой к женщине, которой нельзя доверять.

Но это был его мужской взгляд на вещи. Вида, конечно же, истолкует все по-своему. И теперь самый главный вопрос: кто? Кто была та девушка, которая тщательно отмыла мальчику кожу и распрямила плечи? На вечеринки Ромен не бегал, всегда оставался дома, если его просили, приятелей к себе в гости не приглашал. Может

быть, она старше, может быть, она взрослая, которой нечего делать весь день? Но все выходные и все вечера после школы Ромен был занят. Как же он выкраивает время для свиданий? Сэндлер задавал эти вопросы Виде, которая убеждала его поговорить с Роменом по душам.

— Но мне нужно знать, кто она, прежде чем читать ему лекцию, — возразил Сэндлер.

— А какая разница?

— Я так понимаю, ты проверяла его простыню?

— Я сама позабочусь о грязном белье, — отрезала Вида. — А тебя пусть заботят его венерические болезни! Которые, между прочим, никак не связаны с биографией. Я работаю в больнице, не забыл? Ты понятия не имеешь, что я там вижу!

— Ладно, я постараюсь выяснить, кто она такая!

— И как же?

— Его спрошу!

— Сэндлер, он тебе ничего не скажет!

— Должен же быть какой-то способ узнать. У нас же небольшой городок, и я не собираюсь дожидаться, пока чей-то папаша или брат начнет дубасить в мою дверь!

— Люди так больше не делают. Это раньше было так. Ты разве дубасил в дверь Плекмейна,

когда он ухаживал за Долли?

— Не успел — ты сразу растаяла, как только он к нам заявился.

— Не ерничай! Плекмейн два года отучился в колледже. Да у нас тут никто не стоил его мизинца!

— Спасибо, что напомнила! Теперь я вот думаю, может, надо было все заботы возложить на его шибко образованного отца? Когда их ждать?

— Долли обещала приехать на Рождество.

— Вот видишь! Всего через три недели.

— Девушка к тому времени уже может забеременеть!

— А я думал, тебя беспокоит венерическая болезнь!

— Меня все беспокоит!

— Перестань, Вида. Мальчишка не гуляет допоздна. И он перестал общаться со своими непутевыми приятелями, и ты его больше не тащишь силком из кровати, чтоб заставить пойти в школу. Он по утрам собирается быстрее тебя, и в доме Коузи работает постоянно. Даже сверхурочно.

— О господи, — вздохнула Вида. — Господи ты боже мой!

— Что? — Сэндлер взглянул на жену и рас-

хохотался. — Где твое хваленое благоразумие, женщина?

— Охо-хо… Оно-то при мне. И «постоянно» — очень точное слово.

И тут перед мысленным взором Сэндлера возникли ляжки, выглядывающие из высоких черных сапог, и он снова подумал, что, верно, кожа у нее там ледяная на ощупь. И такая гладкая…

Наверное, это именно сапоги, которые она никогда не снимала, возбуждали Ромена не меньше, чем ее нагота, причем, сказать по правде, сапоги подчеркивали ее наготу, что не было бы так заметно, если бы она их сняла. Поэтому он, естественно, и стащил у дедушки его форменную кепку охранника. Кепка была серая, а не черная, как сапоги, с блестящим козырьком, и когда она ее надела и встала перед ним в кепке и сапогах, Ромен понял, что интуиция его не подвела. Он в последнее время вообще не ошибался. В свои четырнадцать он трахал восемнадцатилетнюю (или двадцатилетнюю?) женщину. И она не просто хотела, а требовала! Ее вожделение было под стать его вожделению — бездонным! Он уже с трудом вспоминал себя до двенадцатого ноября. Кто был тот нюня, проливавший горючие слезы

под подушкой из-за каких-то жалких ушлепков. Теперь Ромену не подобало вести себя как последняя плакса. Коридор его школы стал парадным плацем. Стайка учеников в раздевалке — королевской свитой. И теперь, идя по коридору, он не жался к стенке и не искал спасения, торопливо затерявшись в толпе. И визг трубы умолк в его ушах. Вот как все просто…

Когда он в самый первый день подошел к своему шкафчику, все сразу всё поняли. А кто не понял, тем он сообщил — не словами. Любой, кто мечтает напиться вусмерть или отодрать телку, кому обязательно надо смешаться со стадом — просто козел. Двумя днями раньше Тео мог бы размазать его по стене. Но тринадцатого ноября Ромен смотрел на мир по-новому — глазами, которые оценивали и бросали вызов. Мальчишки рискнули отпустить пару неуклюжих насмешек в его сторону, но при виде улыбки Ромена, ленивой и всезнающей, стушевались. Окончательный вердикт вынесли девчонки. Учуяв что-то в его уверенной манере, они перестали закатывать глаза и обмениваться смешочками. Теперь они демонстративно выгибали спины и, расправляя плечи, широко зевали с намерением ввести в заблуждение зрителей своим наигранным равно-

душием. И обстреливали его вопросительными взглядами. Ромен не просто выиграл по-крупному, он сорвал джекпот! Все гадали: неужели училка? Чья-то старшая сестра? Но он молчал — хотя однажды ответ «Твоя мамочка!» чуть не сорвался с его губ. Во всяком случае, теперь он познал женское тело. И когда на уроке он не дрочил втихаря, то таращился в окно, мысленно воспроизводя случившееся во всех деталях и придумывая новые способы это повторить. Сапоги. Черные носки. В кепке охранника она будет похожа на офицера полиции. Теперь Ромен больше ни о чем другом не мог думать. Он отодвинул стул и попытался сосредоточиться на Восемнадцатой поправке, которую учительница объясняла с таким воодушевлением, что он почти все понял. Но как прикажете сосредоточиться на уроке истории, если ему хочется изучать лицо Джуниор? Ее груди, подмышки — вот что требовало пристального изучения. Ее кожа требовала детального анализа. Чем от нее пахнет — это цветочный аромат или запах дождя? Кроме того, ему надо еще выучить все тридцать восемь разновидностей ее улыбки и все их скрытые значения. И ему понадобится целый семестр, чтобы разобраться в ее глазах существа из научно-фантастического

фильма: в веках, ресницах, зрачках, черных и блестящих, как у пришельца из другой галактики. Да ради того, чтобы оказаться с ней на борту космического корабля, можно все отдать.

Джуниор брала машину хозяйки. Ездила по магазинам, в банк, на почту, выполняла разные поручения миссис Коузи, от которых отказывалась мисс Кристин. И если Ромен пропускал шестой урок или если до обеда у него по расписанию был час для самостоятельной работы, Джуниор подхватывала его на Принц-Артур-стрит, и они ехали в одно из запланированных мест. План (ее) заключался в том, чтобы заниматься этим везде, где только можно. Пометить карту округа объятиями и вспышками похоти. В списке стояли — пока еще не охваченная его средняя школа (желательно — прямо в классной комнате); кинотеатр-мультиплекс, пляж, заброшенный консервный завод и отель. Телефонная будка на Бэрон-стрит около закусочной «Софтиз» была ее любимым местечком. Но до сих пор им удалось только одно приключение вне ее спальни, — вечером на заднем сиденье машины на парковке кафе «Рий». Сегодня они договорились, что он будет ждать ее позади видеосалона, она его там по-быстрому приласкает, а потом отвезет

на Монарх-стрит, где ему предстояло собрать листья из водостока. После чего подбросит домой, возможно, сделав по пути остановку у другой телефонной будки. И каким бы волнующим не было ожидание этой поездки, какими бы незабываемыми не становились разные места этого городка (он теперь ощущал принадлежащим ему лично и кафе «Рий», и даже Тео в нем), все меркло по сравнению с оседлавшей его Джуниор, в сапогах, кепке, когда тень от козырька скрывала ее глаза. Тео, Джамал и Фредди могли сколько угодно резвиться на вечеринках с десятиклассницами в пластиковых туфельках. Но разве они знают настоящие ласки? Им неведомы объятия женских рук, они чувствуют только собственные руки! Они чувствуют только собственные губы, и протяжные стоны удовольствия издают они сами. И никакой интимности: все происходит на глазах у всей стаи. Им требуется вой одобрения для поддержки, чтобы все было по-настоящему, чтобы заглушить трубный скрежет в их ушах. И проделывают-то они это вовсе не с девушкой, а как бы друг с другом. Зато он крепко держит в объятиях и неторопливо ласкает свою женщину, которая по своей инициативе создала для них интимность, как бы задернув занавеску перед

носом изумленных зрителей.

Ромен поднял глаза на часы. Две минуты — вечность! — до звонка с урока.

Джуниор не выключила двигатель. Водительских прав у нее не было, и ей приходилось быть начеку, чтобы сразу сорваться с места при появлении патрульной машины. Она снова проголодалась. Два часа назад она слопала яичницу из двух яиц, четыре ломтика бекона и тост. Теперь она решила сгонять в «Софтиз», купить пару бургеров и молочных коктейлей и вернуться к видеосалону. Она могла делать два дела одновременно. Даже три. Ромену это должно понравиться — и ее Добряку тоже. Иногда *он* садился к ней на кровать и с умилением наблюдал за ней спящей, а когда она пробуждалась, подмигивал, улыбался и уходил. Как странно: ее бесило, что в колонии она постоянно была на виду, под круглосуточным надзором, но ей доставляло радость сознавать, что на нее смотрит Добряк. Ей не надо было даже оборачиваться: она и так знала, что *он* стоит в дверях или снаружи барабанит пальцами по оконному стеклу. Аромат лосьона после бритья возвещал о *его* появлении. И если она не реагировала, *он* мог шепнуть ей в самое ухо: «Красивые волосы», «Возьми!», «Хорошая девочка», «Милые

сиськи!», «Почему нет?». *Он* все понимал куда лучше, чем игрушечный солдат. Удача от нее не отвернулась: уютная теплая комната, вкусной еды сколько угодно, (оплачиваемая!) работа — на такое она и надеяться не могла, когда ее пришлось выпустить из колонии по достижении предельного возраста. Но дополнительный бонус в виде Ромена был как плюс после пятерки за сочинение. Их она получала, когда была образцовой ученицей. Ее не перестали считать образцовой даже после того, как начальство поступило с ней так, будто она убила директора. И почему она это сделала? Взяла и все испортила как раз накануне своего выхода на волю.

Она не собиралась убивать директора — просто хотела его проучить. Кому-то из девчонок нравились «совещания» с ним, и они с радостью выменивали на них офисную практику, сексапильное белье и увольнительные. Но не она. Джуниор, которую не раз хвалили за умение обращаться с клавиатурой компьютера, всегда имела возможность поработать в офисе. Кроме того, что уж такого в обычном хлопковом белье? А весь кайф от увольнительных сразу ломался, когда на тебя начинали пялиться десятки пар любопытных глаз, стоило зайти в супермаркет или

опереться локтями на стойку в «Бургер-Кинге». В любом случае она получала свою порцию секса с ребятами из мужского блока или с девчонкой, которая скучала по дому. Та делилась своими мечтами и без умолку болтала о старике (ему должно быть тридцать, не меньше!) в длинном красном галстуке, спускавшимся до самого члена, с которым не могли сравниться ни свежий огурец, ни кусок мыла, ни столовые приборы, ни леденцы на палочке, ничто другое, что могут пустить в дело изобретательные девочки.

«Выпускное совещание» директор назначил на пятницу, и когда он перенес его на понедельник, то есть на четыре дня раньше, Джуниор решила, что он будет обсуждать с ней присуждение приза за успеваемость или вакансию на работу. В свои пятнадцать она могла покинуть колонию, искупив все грехи, которые привели ее сюда, и вернуться в семью, ни один из членов которой ни разу не навестил ее за все долгие три года. Но у нее не было намерения возвращаться к своим. Колония спасла ее от них. Ей хотелось увидеть мир за пределами Поселения: тот, который она видела по телевизору, о котором ей так много рассказывали новые обитательницы колонии. И страстное желание выйти на волю могло бы

предотвратить любой ее случайный проступок. Этого просто не могло бы случиться из-за ее всем известного прилежного поведения. Но все равно комитет отказался ей поверить, отдав предпочтение директору и методисту, которому уж точно было все известно.

«Выпускное совещание» началось прекрасно. Директор, расслабившись и пустившись в долгий рассказ, рисовал радужные картины развития колонии и будущего Джуниор. Он подошел к раздвижным дверям небольшого балкона и пригласил ее последовать за ним, полюбоваться видом старых деревьев вокруг. Облокотившись на перила, он предложил ей сделать то же самое, потом поздравил с окончанием школы и попросил приезжать в гости почаще. Он был сама любезность. С улыбкой заметил, что перед отъездом ей бы неплохо подстричься. «У тебя такие красивые волосы — как буйный лес». Он дотронулся до них и ласково потрепал ее по голове, а потом, прижавшись к ней, сильно надавил ей на темя. У Джуниор подкосились ноги, она упала на колени, а когда директор распустил ремень и расстегнул ширинку, она обеими руками обхватила его колени сзади и, перегнув его тело через перила, швырнула вниз. Он пролетел один этаж. Всего

лишь один! Методист, заметивший его падение и подбежавший к нему на помощь, видел и его распущенный ремень, и расстегнутую ширинку. Но его версия, аккуратно им изложенная так, чтобы спасти свою должность, выгораживала директора, который-де был в полном замешательстве и недоумении, как любой другой, кто мог бы стать жертвой «необъяснимого возмутительного поведения» образцовой, как считалось, воспитанницы. Комитет, оскорбившись тем, что Джуниор в свое оправдание употребила выражение «полизать ему», быстро изменил ее статус — из воспитанницы на заключенную — в наказание за акт насилия, вызвавший единодушное осуждение.

В последующие три года Джуниор много чему научилась. Если раньше у нее иногда и возникало опасение, что колония может сломать ей всю жизнь, это опасение испарилось. Исправительная школа, а потом тюрьма, отточили ее инстинкты. В колонии время не тратится, оно закладывается, и каждая минута рассчитывается заранее. Что делать в следующие полчаса, в следующие десять минут. Семь минут закладываются на подравнивание ногтей, двадцать — на мытье головы. Полторы минуты — на перебежку

из спортзала в аудиторию. На игры — полтора часа. Два часа — на просмотр телевизора перед отбоем. И впустую пролетающие годы сна, когда ты чутко чуешь присутствие чужих тел рядом. Вопреки распространенному мнению, в суматохе ежедневных дел что-то планировать — это роковая ошибка. Просто будь всегда начеку. И быстро считывай: жесты, взгляды, губы, интонации, движения — намерения. Лови момент, хватай свой шанс. Это — твое! И если повезет — и ты окажешься у раскрытого кошелька, окна или двери, ВПЕРЕД! Это — твое! Все твое. Удача падает с неба, но богатство ты зарабатываешь сама. И ее Добряк был с этим согласен. Она уже давно поняла: *ему* нравилось следить за ее победами.

Они узнали друг друга сразу, в первый же вечер, когда *он* взглянул на нее с портрета. А познакомились они во сне. Без предисловий, без условий, без упреков — *он* просто поднял ее и усадил себе на плечи и так пронес через сад с зелеными яблоками. И когда она пробудилась в светлой холодной комнате, ее согревала теплота этого сна, а не одеяла. Приняв горячую ванну (наконец-то!), она торопливо взбежала вверх по ступенькам: ей хотелось, чтобы новая хозяйка убедилась в ее пунктуальности, но главное — что-

бы увидеть хоть краешек плеч ее Добряка. Хид сидела в кровати, и макушка ее головы едва не касалась позолоченной рамы картины. Джуниор сообщила, что не собирается ехать на автобусную станцию за вещами и готова носить одежду, которая на ней сейчас, пока не заработает на новую. Тогда Хид отправила ее в кладовку, где висел красный костюм в пластиковом чехле. Он был уродливый и огромный, но Джуниор поймала себя на мысли, что ей не терпится раздеться в спальне Хид, у *него* на глазах.

— Сходи позавтракай и сразу возвращайся! — приказала Хид.

Она так и сделала. И во время завтрака: грейпфрут, яичница-болтунья, жареный бекон, кукурузная каша, — болтала с Кристин, уже облачившись в старушечий костюм.

А когда после завтрака она шла обратно к Хид, она уже знала точно, что ее ждет. В коридоре на втором этаже ее обдало волной *его* незримого присутствия: радостный перезвон, обещание большего; потом ее внимание привлекла дверь напротив комнаты, в которой она спала. Приоткрыта. Легкий аромат геля для волос или лосьона после бритья. Она вошла внутрь. Нечто вроде кабинета: софа, письменный стол, кожаные кресла,

туалетный столик. Джуниор все это внимательно оглядела. Провела ладонью по галстукам и рубашкам, висевшим в стенном шкафу, понюхала *его* ботинки; потерлась щекой о рукав *его* льняного пиджака. Потом, обнаружив стопку *его* трусов, скинула красный костюм, натянула трусы и плюхнулась на софу. И безошибочно ощутила, что *он* счастлив. И рад тому, что она сюда зашла, трогала *его* вещи и наслаждалась жизнью у *него* на глазах.

А потом, возвращаясь в комнату Хид, Джуниор оглянулась через плечо на все еще приоткрытую дверь — и заметила краешек белого рукава рубашки: это *его* рука затворяла дверь кабинета. Джуниор рассмеялась, зная наверняка, что в это самое мгновение *он* тоже смеется.

Да как же этого можно не знать! Прямо под окном Хид стоял молодой парень и ждал. Ее. Все становилось яснее ясного. Если ей удастся умилостивить обеих женщин, все смогут счастливо ужиться под одной крышей. Ей только надо их получше изучить, понять. Кристин не волновали деньги, ей нравилось ее кормить, и она разрешала ей брать машину. Хид интересовали цены на бензин, скидки на просроченное молоко и вчерашний хлеб. Джуниор усматривала в щедрости

Кристин и прижимистости Хид завуалированное желание поставить ее на место. Одна словно говорила: «Бери что хочешь и отстань!», а другая: «Тут я хозяйка, а не ты!» И той, и другой она была интересна лишь в той степени, в какой она упрощала или усложняла свои взаимоотношения с каждой. Не вполне посредница, не вполне конфидентка, она играла непонятную роль, постоянно выпытывая у обеих их маленькие секреты. Среди новой, ни разу не надеванной одежды, запертой в чемоданах, нашлась короткая прозрачная ночнушка с лазоревой оторочкой подола, картонная коробка, в которой лежали резиновая спринцовка и банка горчично-желтого порошка «Массенгилл»[40]. Необходимые вещи для отпуска? Для бегства? Кристин поглощала горстями витамины и заливала пиво в пустые банки из-под пепси. Обе женщины регулярно покупали и носили гигиенические прокладки, которые оказывались в мусорном ведре совершенно незапачканными. Хид подписывала чеки печатными буквами «ХК», чуть дрожащими, с наклоном влево.

Со временем обе женщины устанут от своей битвы и доверят ей вести дела в доме. А она спо-

---

[40] Примечания: 40
Средство против вагинальных инфекций.

собна приблизить этот момент, восстановить гармонию, когда почувствует, что ее время пришло — точно так же, как она этого добилась в исправительной колонии, когда на рождественском балу Бетти кинулась с заточкой на Сару, они учинили драку, после чего обе отправились в изолятор. И когда они вернулись в общую камеру, шипя от злости и грозясь устроить такую бучу, которая могла бы испортить жизнь всем обитательницам колонии, Джуниор выступила третейским судьей. Наведя с каждой по отдельности мосты дружбы, она стала незаменимой советчицей для обеих. И сейчас ей будет нетрудно наладить отношения с двумя тетками, одна из которых слишком устала, чтобы ездить за покупками, а другая — слишком слаба, чтобы красить свои седые космы. И обе слишком стары, чтобы еще помнить об истинном предназначении автомобиля. *Он* усмехнулся.

Джуниор вдавила педаль газа в пол. Ванильное или клубничное? А вон и Ромен стоит…

6. Муж

Девчонки в колонии не доверяли этикеткам.

— Давайте оставим минут на пять, а потом хорошенько промоем!

Это было предложение, не приказ. Некоторые краски надо держать на волосах целых пятнадцать минут, от других вмиг могла слезть кожа на голове. Об уходе за волосами девочки из колонии знали все что надо: как заплетать косички, завивать локоны, мыть шампунем, выпрямлять пряди и подрезать концы. И пока им не запретили пользоваться краской для волос — после того как Фоун практически ослепила Хелен, нарочно плеснув ей в глаза пригоршню «Природного инстинкта» — они частенько с профессиональной сноровкой делали друг другу окрашивание и тонировку волос.

Джуниор умело прошлась тонкозубой гребенкой по волосам Хид, разделив их на прядки, а затем нанесла на серебристые бороздки густую струю «Велвет тресс». Каждый проборчик она обработала вазелином, чтобы не допустить раздражения кожи от щелочи. Потом аккуратно

стала наклонять голову Хид туда-сюда, чтобы проверить, ровно ли легла краска на линию волос. Краешки ушей Хид были в шрамиках, оставшихся то ли после ожогов от краски для волос, то ли от раскаленной расчески-выпрямителя. Джуниор медленно провела по застарелым ранкам кончиком указательного пальца в целлофановой перчатке. Потом загнула ушную раковину, чтобы промокнуть ватным шариком лишнюю влагу. Удовлетворенная, что корни волос достаточно влажные и равномерно покрыты краской, она надела Хид на голову шапочку для душа. Моя инструменты и складывая полотенца, она слушала ровное жужжание голоса Хид — то сладострастное урчание, которым всегда сопровождается процедура окрашивания волос. Легкий массаж головы и приятные прикосновения умелых рук — естественные спутники последнего ополаскивания теплой водой чистых, до скрипа, волос. Разморенная Хид поведала ей полусонным голосом историю парикмахерского кресла, в котором она сидела. О том, как Папа любил повторять, что в мире нет более удобного кресла, чем это, и что он заплатил за него всего тридцать долларов, хотя для него оно было намного ценнее. И что никакие ремонты не помешали ему перевезти

это кресло из отеля в ванную комнату их нового дома. И как им дорожит Хид, потому что в самом начале их брака, сидя именно в этом кресле, он усердно учил молодую жену делать ему маникюр и педикюр, потому что любил содержать ногти в идеальном порядке. И еще — брить его опасной бритвой и править лезвие на стропе. А она была такая махонечка, что ей приходилось вставать на скамеечку, чтобы дотянуться до его щек. И он был очень терпелив, обучая ее всем этим премудростям. Воодушевленная безропотным молчанием Джуниор, явно заинтересовавшейся ее рассказом, Хид поведала о том, как в первое время после свадьбы ее не покидало ощущение, что от нее дурно пахнет. Над жителями ее родного городка вечно насмехались из-за того, что они жили вблизи рыбного завода, и хотя лично она ни одной минуты не проработала там, она опасалась, что все вокруг подозревают ее в этом грехе. А теперь вот пагубная близость консервного завода отразилось на ее руках, из-за чего она теперь не может самостоятельно соблюдать личную гигиену.

Джуниор подумала: уж не намекает ли Хид на то, что неплохо бы сделать ей педикюр и потереть спину в ванне. И хотя общий душ в колонии

всегда был для нее малоприятной процедурой, в намыливании тела — чужого тела! — она находила удовольствие, какое способен испытывать только ребенок из Поселения. Кроме того, *ему* доставляло радость смотреть, как она заботится о *его* жене — и точно так же *он* радовался, глядя, как они с Роменом голые забавляются на заднем сиденье *его* старенького автомобиля. И еще *его* потешало, что она надела *его* трусы.

Она включила фен. Теплый, а потом холодный поток воздуха, обдувавший голову Хид, вызвал у той прилив новых воспоминаний.

— Мы были первой цветной семьей в Силке — и никто из белых даже слова не сказал. Тысяча девятьсот сорок пятый. Война только закончилась. У всех водились деньги, но у Папы их было больше, чем у других, поэтому он и выстроил этот дом на принадлежавшей ему земле подальше от океана. Теперь этот жилой район называется Оушенсайд, но в те времена тут был заброшенный яблоневый сад, в котором жили одни птицы. Подай-ка мне полотенце!

Хид обтерла волосы на висках и посмотрелась в зеркало.

— Мы устроили два банкета по случаю победы. Один в отеле для всех. И второй для узкого круга

здесь, в доме. Люди потом много лет об этом вспоминали. Все лето продолжалось нескончаемое празднество. Начали в мае и закончили четырнадцатого августа. Повсюду флаги висели. На пляже запускали фейерверк и ракеты. Мясо тогда продавали по карточкам, но у Папы были связи на черном рынке, и у нас мяса было завались! Мне не дозволялось появляться на кухне, но тогда им моя помощь ох как понадобилась!

— А почему вас не пускали на кухню?

Хид наморщила нос.

— Ну, я не очень хорошо готовила. Кроме того, я была женой босса, сама понимаешь, и я отвечала за прием гостей в отеле, а поэтому никогда…

Хид осеклась. Рассказ о «приеме гостей» на двух банкетах в честь победы в 1945 году утонул под нахлынувшими воспоминаниями о двух других праздниках двумя годами позже. По случаю шестнадцатилетия Кристин и окончания ею школы. Сначала был запланирован семейный банкет в доме, а потом — общий банкет в отеле. До июня 1947-го Хид не виделась со своей бывшей подружкой целых четыре года. И Кристин, вышедшая из Папиного «Кадиллака», была совсем не похожа на ту, кто в 1943-м сбежал из дома, размазывая слезы по щекам. Глаза над теми самыми щеками

стали больше — и холоднее. Две девчачьи косички сменила укладка «под пажа»[41], прилизанная, как и улыбка ее обладательницы. Они не стали притворяться, что сильно рады встрече, и сидя за столом, умело скрывали взаимное любопытство. Закатное солнце, красное, как арбуз, расщедрилось на остатки дневной жары — влажной и звенящей. Хид вспомнила запах букета гардений (точно детский тальк) и их лепестки с коричневыми краями (точно поджаренные тосты). И еще руки: короткий взмах ладони, отгоняющей муху, — льняную салфетку, прижатую к влажной верхней губе, Папин указательный палец, теребящий кончик усов. Все ждали Л. Она в тот день приготовила что-то умопомрачительное и еще испекла праздничный торт. На торте среди сахарных роз и голубых марципановых ленточек стояли шестнадцать незажженных свечей. За столом журчала вежливая беседа ни о чем, и ее пустоту только подчеркивало жужжание потолочного вентилятора и выразительные взгляды, которыми обменивались Мэй и Кристин. Папа с оживлением рассказывал о своих планах улучшить сервис в отеле, благо война закончилась.

[41] Примечания: 41

«Под пажа» — модная женская стрижка конца 1930-х — начала 1940-х гг.

Он намеревался установить новую систему кондиционеров «Кэрриер».

— Это было бы чудесно, — заметила Кристин. — Я и забыла, как тут бывает жарко.

— Сначала мы установим кондиционеры в отеле, — продолжал Коузи. — А потом и в доме.

Хид, желая продемонстрировать свой авторитет хозяйки, вставила:

— Вентиляр в спальне дует хорошо, но в этой комнате мне чувствуется, что он работает плохо.

— Ты хочешь сказать «мне кажется»?

— Это я и сказала!

— Ты сказала «мне чувствуется». «Чувствуется» — возвратная форма глагола, которую употребляют в безличных предложениях! Нельзя сказать «мне чувствуется». Во фразе, которую ты произнесла, уместно сказать «мне кажется»...

— Ты сидишь за моим столом и учишь меня, как надо говорить!

— За *твоим* столом? — выпалила Кристин.

— Замолчите, вы обе! Пожалуйста, замолчите!

— Ты на чьей стороне?

— Ты меня слышала, Хид?

— Ты на ее стороне! — Хид вскочила.

— Сядь сейчас же! Ты слышала, что я сказал?

В гробовой тишине Хид села. Она не видела

вокруг ничего, кроме ставших вдруг огромными рук и лепестков гардений. Тут вошла Л., неся ведерко с шампанским. В ее присутствии Хид окончательно успокоилась и протянула бокал, чтобы его наполнили.

— Не этот, другой! — бросил Коузи. — Это фужер для воды.

Мэй даже не пыталась скрыть насмешки, обменявшись с дочерью взглядом. Заметив ее кривую усмешку и взгляд, Хид вскипела: она вскочила со стула и, швырнув в мужа «не этот» фужер, метнулась к двери. Папа встал и схватил ее за руку. А потом подчеркнуто галантно положил ее животом себе на колени и отшлепал по заду. Не сильно. Не злобно. Невозмутимо, как бы нехотя — так наказывают расшалившегося ребенка. Когда он закончил экзекуцию, ей было ужасно неловко выйти из комнаты и подняться по лестнице к себе. Ужасно неловко, но она смогла. Беседа, возобновившаяся после того как Хид, спотыкаясь, взбежала по ступенькам, потекла размеренно и спокойно, словно неприятный запах, отвлекавший всех от трапезы, наконец-то выветрился.

Джуниор выключила фен.

— А что у вас за семья? Вы о них ничего не рассказываете.

Хид издала звук, точно поперхнулась, и махнула скрюченной ладошкой.

Джуниор рассмеялась.

— Я вас понимаю. Я бы скорее выпила стакан со щелочным раствором, чем согласилась жить со своими. Меня заставляли спать на голом полу!

— Забавно! Первые несколько недель после свадьбы я нигде не могла спать — только на полу. Я к этому привыкла.

Хид взглянула на отражение лица Джуниор в зеркале и подумала: так вот оно что, вот почему я ее наняла. Мы похожи: обе всюду чужие! Как паршивые овцы в стаде. Замужество стало для меня способом уйти от родных, чтобы научиться спать в настоящей кровати, чтобы по утрам кто-то меня спрашивал, что я желаю на завтрак, а потом шел бы на кухню готовить для меня еду. Жить в огромном отеле, где твою одежду гладят, складывают, вешают на плечики, а не на гвоздь. Где я смотрю, как богатые леди из города танцуют по вечерам, или прячусь за сценой и наблюдаю, как музыканты настраивают инструменты, певцы одеваются и перед выходом на сцену допивают стакан, а потом исполняют «В темноте ночи…». Сразу после свадьбы ее родичи налетели как комары и начали сосать из нее кровь. При всех

испытываемых ею унижениях, именно они, Коузи, были (стали) ее настоящей семьей. И пускай ей пришлось сражаться за свою принадлежность к семье, это стало возможным благодаря Папе. Пока он был рядом, ее оставляли в покое. А он постоянно давал всем понять, что к ней надо относиться с уважением. Как тогда, когда они вернулись из их трехдневного «медового месяца». Хид переполняли впечатления, о которых ей не терпелось рассказать Кристин. Но представ перед всеми в лаковых лодочках, спадавших при ходьбе, она была встречена презрительной ухмылкой Мэй и раздраженным фырканьем Кристин. Все начала, как всегда, Мэй, громко обсмеяв наряд Хид, да и Кристин тоже скривилась — вот уж чего Хид от нее никак не ожидала.

— Во что это ты такое вырядилась, бог ты мой! — воскликнула Мэй, картинно хватаясь за голову. — Ты выглядишь как…

— Стоп! Стоп! — вмешался Папа. — Я этого не потерплю. Перестаньте сейчас же обе. Вам ясно?

Дрожа, Хид жалобно посмотрела на Кристин, ища у нее поддержки. Но не нашла. Взгляд ее подруги был холодный, точно это Хид ее предала, а не наоборот. Тут появилась Л. с ножницами в руке и отрезала ценник, свисавший с рукава

Хид. И что их так рассмешило, недоумевала она. Туфли? Черные чулки в сеточку? Миленький фиолетовый костюм? Папу ее покупки привели в полный восторг. Они пришли в большой универмаг, где не было табличек «Не для цветных» и где ее согласились обслуживать, где можно было сходить в туалет, и примерять шляпки (перед примеркой внутрь засовывали одноразовую салфеточку), и раздеваться в специальной комнатке позади торгового зала. Хид выбрала такие же вещи, которые она видела на шикарных модницах в отеле, и была уверена, что и широкая улыбка продавщицы, и веселый смех посетителей магазина служили знаком одобрения ее выбора. «Вы не девушка, а мечта!», заметил кто-то и прыснул. И когда она вышла из примерочной в кремово-бежевом платье с красными шелковыми розами на плече и глубоким декольте, скроенным для грудей, которые у нее появятся когда-нибудь в будущем, Папа довольно улыбнулся, кивнул и сказал: «Мы берем! Все берем!»

В те три дня они не вылезали из магазинов. Папа позволял покупать все, что ей хотелось, в том числе и губную помаду «Парижская ночь». По утрам в постели они играли в «реслинг», потом обедали у Рейно. В отличие от курортного отеля

Коузи, в гостинице, где они остановились, ресторана не было, что обрадовало Папу, которому нравилось выискивать недостатки в бизнесе других цветных. Он возил ее в «Брод-стрит», «Эдвардс бразерс», «Вулвортс», «Хэнсонс», где она купила, помимо туфель на каблуке, еще и кожаные сандалии, и домашние тапочки с блестками, и чулки в сеточку. Только вечерами она оставалась одна, когда Папа ходил по друзьям и решал вопросы бизнеса. А Хид не возражала, потому что у нее были свои увлекательные занятия: книжки-раскраски, иллюстрированные журналы, набор кукол с кукольной одеждой для вырезания из картонных заготовок. Ну и улица. Из их окна на втором этаже она как зачарованная глазела на толпы людей и оживленное движение: громко сигналившие черные автомобили с квадратными крышами, солдат, моряков, женщин в шляпках размером с игольную подушечку и овощные лотки перед огромными плакатами с надписью: «Дяде Сэму нужен ты!»

Папа водил ее смотреть «Мы жили в зеленой долине» и «Китти Фойл»[42]. А на «Гроздьях гнева» она рыдала так громко и долго, что ее носовой

---

[42] Примечания: 42
Голливудские мелодрамы начала 1940-х гг.

платочек совсем промок. И каким бы чудесным ни был этот медовый месяц, она мечтала поскорее вернуться домой и все рассказать Кристин. Но обиженная ее холодным приемом, она решила держать свои рассказы при себе. Один раз, в попытке помириться с Кристин, она предложила той поносить свое обручальное кольцо — так вся кухня буквально взорвалась. Все четверо — Мэй, Л., Кристин и Хид — как раз разделывали овощи, когда Хид украдкой сняла кольцо и протянула Кристин со словами: «Можешь его поносить, если хочешь».

— Ну ты, девочка, и дура! — воскликнула Мэй.

Л. сделала ей выговор:

— Следи за языком! Ты не на улице!

А Кристин, вся в слезах, выбежала вон через служебный выход. Она спряталась в дождевой бочке, и Хид могла слышать ее крики оттуда: *Ыт-айдагей яныбар-айдагей! Но-айдагей липук-айдагей бяет-айдагей аз-айдагей йындал-айдагей окош-айдагей кич-айдагей нотаб-айдагей!*

Хид впилась взглядом в стручковую фасоль, а в ее ушах звенело: *Яныбар-айдагей! Яныбар-айдагей!*

В тот вечер, когда шеф Бадди Силк силком привез Кристин обратно, воспрепятствовав ее ду-

рацкому намерению сбежать из дома, за что она и получила оплеуху, Хид ни слова ей не сказала. Она просто стояла рядом с Папой на лестнице и держала его за руку. А через две недели Кристин исчезла, предоставив Хид самой заботиться о себе. Ее единственными спасителями в новом загадочном мире остались только Л. и Папа.

— А я никогда не видела своего папу, — сообщила Джуниор. — Он в армии погиб. Во Вьетнаме.

— Ну, он хотя бы туда поехал, — заметила Хид.

— А моей матери было на меня наплевать.

— Моей — тоже.

— Может, мне стоит выйти замуж — по вашему примеру?

— С замужеством будь осторожна!

— Вам от мужа достался такой большой красивый дом.

— Мой Вьетнам! С той разницей, что я жива осталась. — Пока жива, подумала Хид. — Но ты права: он обеспечил меня на всю оставшуюся жизнь.

— Ну вот, видите! А вы разве не рады, что он вас жалел?

— Жалел? — сердито переспросила Хид. — И с чего это так думаешь?

— Ну, не «жалел». Я не то имела в виду. Я хотела

сказать: он же понимал, что вы будете одинокой.

— Конечно, понимал. Но это была не жалость. Это была… это была…

Она не могла выговорить это слово, и после 1947 года ни разу не слышала, чтобы он его произносил. Во всяком случае, ей — хотя на протяжении двадцати четырех лет она все ждала и ждала. А когда он умер, вырвавшиеся у нее из груди рыдания означали то, что она тогда поняла: больше она уже никогда этого слова не услышит.

— Вот что… — Она тронула Джуниор за плечо. — Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала. Чтобы мы вместе сделали. Это для меня — но и ты не останешься внакладе.

— Конечно! А что сделать?

— Есть кое-какие документы, которые мне нужны. Но они хранятся в месте, куда я не могу сама добраться. Тебе надо меня туда отвезти и потом помочь мне их найти.

— Куда вас отвезти?

— В отель. Нужно попасть на чердак. Нам понадобится самописка.

Джуниор не могла *его* нигде найти. Она поискала *его* в других комнатах, потому что когда сидела у *него* в кабинете, надев *его* галстук, то не ощутила аромата лосьона после бритья и не

услышала *его* шепота в ухо: «Привет, сладкая моя!» Может быть, ей просто и не нужно было, чтобы *он* ей что-то говорил. В знак одобрения. Может быть, *он* и так понимал: она знает что делать. Сперва прощупать Кристин: убедиться, что они с ней все еще друзья — на тот случай, если план Хид накроется. Вывести из дома Хид и усадить в машину так, чтобы Кристин их не заметила, — очень просто, потому что жизнь в доме подчинялась четкому графику, как в колонии.

Тем же вечером она примостилась на корточках рядом с Кристин, которая сидела на заднем крыльце с банкой газировки в одной руке и сигаретой в другой. Несмотря на прохладную погоду, у Кристин под фартуком была только блузка без рукавов. Джуниор указала пальцем на сигаретную пачку.

— Можно мне одну?

— Купи свои! Тебе же платят. А мне — нет.

— А если я не могу себе этого позволить, а, Кристин?

— Ты же можешь себе позволить эту металлическую штуку в носу, значит, можешь позволить и сигареты!

— Вообще-то я не курю. Вонючая гадость!

Кристин рассмеялась, вспомнив, каким амбре

наполнила Джуниор дом в первый день своего появления.

— Ну и молодец.

— А почему вам не платят? Вы же больше меня работаете!

— Потому, что твоя хозяюшка ненормальная и злобная, ей помощь нужна.

— Так я же ей помогаю.

— Не такая помощь. Ты не заметила в ней никаких странностей?

— Ну самую малость. Возможно.

— Самую малость? А если кто не выходит из своей комнаты годами — разве это не признак слабоумия? И о чем только вы там с ней болтаете, я не пойму!

— О разном. Например, о ее жизни.

— Господи!

— Она показывала мне фотографии. Свадебные. Я видела и вас на фото — у нее на свадьбе. Вы были просто красавица, Кристин, настоящая красавица! Вы же ее давно знаете, да? Вы с ней кузины или как?

— Кузины? — Кристин скривила губы.

— Нет? Вы не родственницы? Просто подруги?

— Она мне не подруга. Она мне бабушка!

— Это как?

— А вот так. Бабушка. Поняла?

— Но вы же одного возраста.

— Я даже старше. На восемь месяцев.

— Постойте, — Джуниор нахмурилась. — Она сказала, что была замужем тридцать лет и что он умер двадцать пять лет назад. То есть она тогда была… ребенком!

— Это все заметили, — Кристин отпила из банки.

— А вам тогда… сколько было?

— Двенадцать. Мой дед женился на ней, когда ей было одиннадцать. Мы были лучшими подругами. Вчера мы строили вместе замки из песка на пляже, а сегодня он усаживает ее к себе на колени. Вчера мы играли в дочки-матери под одеялом, а сегодня она спит в его постели. Вчера мы играли в «звездочки»[43] на пляже, а сегодня она трахается с дедушкой! — Кристин оглядела свои бриллианты и помахала пальцами, как гавайская танцовщица. — Вчера этот дом был мой, а сегодня она в нем хозяйка! — Она отложила сигареты и встала. — Это же как-то влияет на мозг, если выходишь замуж до первой менструации. Ей нужна

[43] Примечания: 43

Речь идет об игре «джекс»; комплект игры состоит из маленького упругого мячика и набора гнезд (металлических шестиконечных предметов), напоминающих звездочки.

помощь специалиста, как думаешь? — Кристин подула на свои кольца. — Вчера девственница, а сегодня — рожай детей! — и с этими словами она ушла, оставив Джуниор обдумывать услышанное.

Кристин вернулась на кухню — и ее прошиб пот. Она приложила лоб к дверце холодильника, потом распахнула ее, подставив лицо холодному воздуху. Волна жара вмиг отступила, как и там, на крыльце, но быстро охватила ее вновь, вызвав дрожь во всем теле. Прошло уже немало времени с тех пор, как спала завеса и за ней обнаружилась пустыня безжизненных камней, и Кристин подумала: уж не ей ли, а вовсе не Хид, требуется помощь специалиста? Достав из морозилки несколько кубиков льда, она завернула их в полотенце и стала прикладывать к горлу, вискам, запястьям, пока не унялась дрожь. Но осталась печаль. И четкий незамутненный вид окружающего мира, каким он и был в реальности — бесплодным, темным, уродливым, безжалостным. Что она тут делает? Что забыла? Спутанные помыслы, бессмысленные притязания. Она знала, что старается придумывать себе все новые и новые занятия — а как еще отогнать прочь это видение: нагромождение серых мертвых камней,

лишенных живой зелени. Закрыв глаза и прижав к векам холодное полотенце, она шепнула: «Нет!» — и распрямила спину. Это важно! Ее борьба с Хид не бессмысленна, не напрасна. Разве можно забыть, как она сражалась за подругу, как пренебрегала собственной матерью, чтобы ее защитить, как давала ей свою одежду: платья, шорты, купальник, сандалики, — как они вдвоем устраивали пикники на пляже… Они хохотали до упаду, придумали свой секретный язык и ночью видели одинаковые сны. А потом твоя лучшая и единственная подруга выпрыгнула из твоей ванны, предательски окатив тебя водой, и без зазрения совести променяла фантазии, шепотом рассказанные под одеялом в твоей кроватке, на темную комнату в конце коридора, в которой воздух был пропитан запахом виски и тайных утех старика, где она занималась вещами, которые нельзя описать, настолько мерзкими, что и игнорировать их было тоже нельзя. Этого Кристин никогда не забудет. И почему она должна забыть? То, что изменило всю ее жизнь. То, что изменило Мэй — раз и навсегда. Тогда даже у Л. челюсть отвалилась…

После свадьбы они иногда пытались, как прежде, играть вместе, но обе только и ждали друг

от друга очередной колкости и насмешки, и все такие игры кончались ссорами. Потом были слезы, утешения Мэй, разговоры шепотом — чтобы дедуля Коузи не услышал, как насмехаются над его невестой.

Про него ходило множество слухов: в чем только его не обвиняли! Он же был важный господин, который, коль скоро никто ему слова не мог сказать поперек, вытворял все что угодно — и все ему сходило с рук. А мать тоже хороша: решила, что лучше уж отослать дочь куда подальше, чем конфликтовать со свекром. Поместила ее в частную школу и отговорила проводить летние каникулы дома. И еще уверяла, будто ради ее блага отправляла дочь в церковные лагеря, где та коротала лето с одноклассниками. Как-то Мэй устроила ее вожатой в исправительный лагерь для бездомных негритянских девочек, сбежавших из-за притеснения в семье. Несмотря на щедрые посылки с рождественскими подарками и дорогими, но не по ноге, туфлями к началу очередного учебного года (вместо увесистых писем с *лживыми* объяснениями и вложенными банкнотами), было совершенно ясно, что ее отвергли. И Л. тоже хороша: она единственная старалась сохранить мир в доме, но даже если

она сердилась и укоризненно качала головой, то никогда не принимала ничью сторону. Но самое настоящее предательство совершила ее лучшая подруга, которая со счастливой улыбочкой дала себя увести по коридору в темноту, в комнату, где витал запах виски и где старик предавался своим утехам. Так кто должен был уйти? Кто должен был покинуть свою спальню, свои игрушки и свой океан? Самая невинная в этом доме — вот кто! И даже когда она вернулась, уже шестнадцатилетняя, готовая занять подобающее место в семье, ее опять выгнали, потому что к этому времени Хид уже повзрослела и окончательно превратилась в мерзавку. Настолько гадкую, что она задумала устроить пожар.

Кристин отправилась к себе и уселась в продавленное кресло-качалку, которое всегда предпочитала скрипучему дивану. Жар прошел, и голова перестала кружиться. Но печаль не отступала. «Наверное, именно я придумала себе этот мир, — подумала она. Добрая душа так бы не смогла».

А ведь все могло сложиться иначе. Она и хотела, чтобы было иначе. В поезде, возвращаясь из Мэйпл-Вэлли домой, она тщательно распланировала свои реакции, свое поведение. Все должно было пройти хорошо, ведь ее возвращение озна-

менуется сплошными праздниками — в честь ее дня рождения, окончания школы и их переезда в новый дом. Она решила быть с Хид учтивой, холодной, но любезной, как их учили себя вести в Мэйпл-Вэлли. И что ее заставило вступить с Хид в перепалку по поводу грамматики, она уж и не помнила. Но что она запомнила накрепко, так это как дедушка отшлепал Хид и как ее сердце возликовало от того, что дед — хоть раз! — встал на ее сторону в споре с женой и показал всем, какое поведение он считает похвальным. Восторгу Кристин не было границ, когда все трое — настоящие Коузи — вышли вместе из дома, сели в большой автомобиль и уехали, забыв о недостойной твари.

Когда они с Мэй вернулись, из окна ее спальни валил дым. Вбежав с криками в дом и взлетев вверх по лестнице, они обнаружили в спальне Л.: та сбивала огонь с почерневших простыней двадцатифунтовым мешком сахара, из-за которого обугленные простыни и матрац покрылись карамельной коркой.

И вновь из дома выгнали не Хид, а Кристин. Дедушка Коузи покинул общий банкет и поспешно ушел из отеля неизвестно куда. В страхе и злобе мать и дочь не спали до трех утра, когда он

наконец вернулся, босой, как блудный пес, держа в руках свои ботинки. И вместо того чтобы взять Хид за шкирку и вышвырнуть туда, откуда она пришла, он только рассмеялся.

— Она хочет нас убить! — шипела Мэй.

— Да ведь вас там и не было! — ответил он со смешком.

— Сегодня не было, а что завтра?

— Я с ней поговорю.

— Поговоришь? Точно? Уж прошу тебя, Билл, пожалуйста! — умоляла Мэй.

— Успокойся. Говорю тебе: я все улажу. — Он отвернулся, давая понять, что разговор закончен и ему пора отдыхать. Мэй тронула его за локоть.

— А что насчет Кристин? Она не может так жить. Это просто опасно!

— Этого больше не повторится! — отрезал он, сделав акцент на частице *не*.

Он взглянул на Мэй и, похоже, глядел на нее целую вечность, потом кивнул:

— Пожалуй, ты права, — и тронул свои усы. — Ты можешь ее куда-то отправить на недельку-другую?

— Хид?

— Нет! — Это предположение его удивило, и он нахмурился. — Кристин!

— Но ведь Хид устроила пожар! Она виновата! Почему Кристин надо уехать?

— Кристин мне не жена. Моя жена Хид. Кроме того, это ненадолго. Пока тут все не уляжется.

Вот так. Кристин, собирай вещи и отправляйся пожить в дом к однокласснице. На неделю или две. А знакомым скажут, что она «на каникулах», и кто хочет, пусть верит, а кто не хочет — то и не надо. Пусть Кристин позвонит подружке, потом Мэй возьмет трубку и обо всем договорится с ее родителями.

И вот тогда, стоя в своем роскошном платье, отороченном стразами, как какая-нибудь кинозвезда, Кристин и приняла окончательное решение. Он ни разу не взглянул на нее. Он только смеялся. А эта дешевка, эта его малолетняя сучонка-жена пыталась ее убить — ну, сейчас у нее не вышло, но когда-нибудь ей это удастся, а что же, он тоже будет смеяться, глядя на обугленное тело, плоть от своей плоти, и тоже все уладит — как какой-нибудь казус с не принятым к оплате чеком постояльца, или с опоздавшим к началу шоу музыкантом, или с жуликоватым оптовиком, надувшим его на поставке виски? Пока-пока, поживи у одноклассницы! Пока-пока, вы, психи! Надень свои ботинки, старик, посмот-

ри вокруг и хорошенько запомни ее лицо, потому что больше ты ее никогда не увидишь!

Ты постоянно думаешь о смерти, говорила я ей. Нет, возражала она. Это смерть постоянно думает обо мне. Она в этом деле ничегошеньки не понимала. Она думала, смерть — это путешествие на небеса или в ад. Ей и в голову не приходило, что это в общем-то одно и то же. Ты можешь делать все, что хочешь, но только все — сама. Но так уж Мэй объясняла свою привычку копить и прятать, хранить и красть. Смерть пыталась вскрыть запертую дверь, и ей требовалось все ее хитроумие, чтобы отвадить старуху с косой. Ее дочка была разболтанным шарниром, тем слабым звеном, из-за которого Мэй могла все потерять. Кристин приходилось защищаться не только от старухи-смерти, вторгшейся в ее жизнь и лишившей ее отца, но и от живой смерти — нищеты, с которой Мэй, как и все чернокожие, была знакома не понаслышке. Вечно бездомная попрошайка, чья христианская вера требовала нескончаемой благодарности за тарелку маисовой каши. И ничто не пугало ее больше, разве что неодобрение белых. При каждом удобном случае она вспоминала, что мистер Коузи происходит из многовекового ро-

да тихих преуспевающих рабов и бережливых вольноотпущенников — при этом каждое новое поколение приумножало состояние, оставленное предками. Она называла их независимыми подрядчиками. Сапожниками, швеями, плотниками, жестянщиками, кузнецами, разнорабочими и ремесленниками, которые оттачивали свое мастерство, доводя до совершенства, и обслуживали богатых заказчиков, которые щедро их вознаграждали. Плотники мастерили замечательные инструменты, жестянщики снабжали инвентарем лабораторию местного колледжа. Один кузнец нашел применение своему ремеслу на сельской конюшне, где быстро стал уважаемым работником, потом незаменимым и наконец — процветающим. И его репутация позволила ему требовать за свою работу не только ночлег и еду, но и денежное вознаграждение, и его требование было удовлетворено. Помаленьку, не спеша, согласно семейному преданию, они копили заработки для воспитания потомства, которому было суждено жить лучше, чем их родителям. Они вели себя тихо, не скандалили, не протестовали, не бузили, а просто ухаживали за лошадьми и поддерживали тесные отношения с авторитетными белыми. Во всяком случае так гласила

причесанная легенда, авторство которой принадлежало неизвестно кому, но Мэй и мистер Коузи ею всегда бравировали. Он-то знал истинную цену этой легенде. Но Мэй слепо в нее верила, вот почему малышка Хид в мужской майке вместо платья символизировала в ее глазах конец всего — она была как навозная муха, случайно залетевшая в дверь и теперь жужжащая над столом с едой и, уж коли она собралась сесть на Кристин, грозившая осквернить ее грязью, в которой она с рождения копошилась. Но Мэй смирялась с их дружбой лишь до тех пор, пока не вмешался мистер Коузи. Тогда ей пришлось быстро что-то придумать. И если Хид и Кристин были готовы оставаться подружками и вести себя как родные сестры в угоду безрассудному капризу старого греховодника, Мэй это сразу пресекла. Коли прихлопнуть навозную муху она не может, то ей вполне по силам хотя бы оторвать ей крылышки и опрыскать воздух спреем «Рейд», чтобы мухе было нечем дышать — или превратить родную дочь в союзницы.

Жаль. Они же были всего лишь маленькими девочками. Еще год — и они будут сражаться до крови, и крови прольется немало. С открытым забралом, с презрением к смерти. И какой им в

этом был прок?

День, когда мистер Коузи во всеуслышание объявил, на ком намерен жениться, стал для Мэй ее личным седьмым декабря[44]. В мгновение ока она перешла от обороны к наступлению. И как скажет вам любой честный ветеран, война хороша для одиноких, она в радость для бесшабашных глупцов. Но Мэй не всегда была такой. Когда я впервые ее увидела в 1929 году, рядом с Билли-младшим, вид Мэй соответствовал ее происхождению: а была она младшей дочерью бродячего проповедника, привыкшего одевать свою семью в обноски, полученные в дар от слушателей, которых могло увлечь его красноречие. Симпатичная, обделенная родительской заботой девушка в штопаном-перештопаном пальтишке. Полоска вытертого меха на воротнике, салатово-зеленое платьишко, черно-белые туфельки — сразу было ясно: это куплено на барахолке. И пока я гадала, где ее откопал сын мистера Коузи, она поднесла руку Билли-младшего к своим губам и поцеловала. Видя, как ее глаза пожирают

---

[44] Примечания: 44

7 декабря 1941 г. японская авиация уничтожила американский флот в Перл-Харборе, после чего США вступили во Вторую мировую войну. Для американцев дата 7 декабря имеет тот же символический смысл, что для россиян 22 июня.

все вокруг: стены, потолок, мебель в вестибюле отеля, — я решила, что она сейчас поведет себя как чванливая постоялица в ожидании прислуги. Но я ошиблась. Она повременила с распаковыванием своего картонного чемоданчика, только переоделась, сменив свое жалкое платьишко, и сразу взялась руководить. «Давайте, — проворковала она тихим приятным голоском, — наведем чистоту. Вот это передвинем, а тут подметем, здесь вытрем пыль...» Мы не смогли удержаться от улыбки. Этот сладкий голосок как пирожное-меренга, эти ее светские манеры... Особенно радовался мистер Коузи, видя, что сын выбрал себе жену, способную украсить отель. Она перевела Билли-младшего из официантов в бармены, а потом сделала менеджером, отвечавшим за ангажементы музыкантов, что позволило мистеру Коузи сосредоточиться на деньгах и зрелищах. Даже беременность не умерила ее активности. На моей памяти Мэй была первой матерью, которая отняла от груди малышку в три месяца. Билли-младший умер в 1935-м, и это произошло так неожиданно, что мы не успели даже за ним как следует поухаживать. Кристин заползла под мою кровать и, когда я ее там обнаружила, то разрешила ей спать рядом со мной.

Она никогда не была плаксивым ребенком, но слушая ее всхлипывания во сне, я утешалась. Мэй восприняла смерть Билли-младшего скорее как оскорбление, нежели трагедию. Помню, глаза у нее все время были сухими, как у черепахи, и она оставила Кристин на мое попечение. Мистер Коузи забросил дела, и весь бизнес тогда держался на Мэй да на мне, и мы старались вовсю, чтобы колесики исправно крутились. В следующие семь лет она всю себя посвятила бизнесу, курорту. И после семи лет самоотверженного труда была вознаграждена его сообщением: «У меня будет жена. Ты ее знаешь. Это маленькая подружка Кристин». Вознаграждена зрелищем того, как ее свекор женится на одиннадцатилетней подружке ее дочери и ставит эту подружку выше всего и всех — выше ее самой, выше ее дочери и того, ради чего она работала не покладая рук. Но не только. Предполагалось, что она будет обучать подружку-малолетку командовать всеми нами. Многие мужчины в те времена брали в жены молоденьких (чем моложе девушку выберет мужчина, тем лучше), но одиннадцатилетняя — это уж слишком! Верно, в этом браке многое настораживало, причем не только возраст невесты. Новая свекровь Мэй — она же была не просто малолетка,

а еще и Джонсон. И в кошмарном сне ей не могла явиться более пугающая семейка. Болван с этикетки «Немецкого сиропа». Дикари на «Царском разрыхлителе для теста». Идиоты из рекламы «Фруктового уксуса Олдена», кукурузных хлопьев «Корн Кинкс», ниток «Дж. Дж. Коутса» и чумазые младенцы с «Имбирной настойки Сэнфордса»[45]*. Вот кого она видела, глядя на Джонсонов. Она могла заплетать волосы в косички в ванной или на кухне смачивать виски холодной водой, но где бы она ни находилась, она повторяла одно и то же: беспомощность — это не привычка, а особенность, невежество — это судьба, жизнь в грязи — это личный выбор. Она содрогалась, говоря такое: будучи дочерью проповедника, она искренне пыталась проявлять христианское благодушие, но всякий раз терпела неудачу, стоило ей взглянуть на кого-то из Джонсонов. Или просто услышать про них. Только вслушайтесь в их имена, говорила она. Такие напыщенные имена люди придумывают для мулов и рыбацких лодок. Брайд. Велком-Монинг. Принцесса-Старлайт. Рэйчес-Спирит. Солитюд. Хид-зе-Найт. А в*

---

[45] Примечания: 45

Перечисляются карикатурные изображения чернокожих на упаковке и в рекламе популярных товаров, производившихся в США в конце XIX — начале XX в.

довершение всего — их главный порок: непростительная беспомощность родителей, Уилбура и Сарри, которые полагали, что сидеть в лодке с леской — это и значит работать. Скормив двух сыновей ненасытному океану, они использовали свое горе как стаканчик уличного попрошайки, а потом как налог, которым обложили соседей. Так почему бы не позволить младшенькой выйти замуж за пятидесятидвухлетнего дядьку, да еще и получить за это кто его знает сколько деньжат. Даже если бы он дал им двухдолларовую бумажку, говорила Мэй, с нее причиталось бы полтора доллара сдачи. Но все знали: мистер Коузи ничего не покупал по дешевке, — а если и покупал, то со временем ценность покупки только возрастала. Как дитя, которое, повзрослев, начнет рожать своих детей. И тут я волей-неволей подумываю еще кое о чем, что так тревожило Мэй. Джонсоны были не просто нищими и никчемными — их дочки, как говорили, рано научились раздвигать ноги. То, что в первую очередь и привлекло мистера Коузи в Хид, могло заразить ее собственную дочь. Не успела Мэй в первый раз поговорить с Кристин о менструациях или придумать способ оградить дочь от неподходящих юнцов, как у нее в доме появляется юное создание, не понаслышке

знакомое с плотскими утехами, и эту новую атмосферу Кристин могла бы впитать быстрее, чем фруктовый кекс впитывает ром. А все потому, что мистер Коузи мечтал о детях.

По крайней мере, так он все объяснял знакомым, а может быть, и самому себе. Но не мне. Мне он этого не говорил, потому что я проработала на него с четырнадцатилетнего возраста и знала правду. Девочка ему нравилась. Кроме того, по примеру многих наших, устроившихся на оружейные заводы, которые во время войны были десегрегированы, его полюбовница уехала из города. Вот правда, но не вся. Помню, он рассказывал мне про девчушку, которая бежала за отрядом местных линчевателей и упала в конский навоз, а белые стали над ней потешаться. Это было жестоко: толпа веселилась, придя поглазеть на убийство. Мистер Коузи вспоминал эту историю всякий раз, когда ему требовалось привести пример бессердечности белых, но мне-то кажется, все дело в том, что и он тоже над той девчушкой потешался, и, взяв замуж Хид, он как бы замаливал свой грех. И точно так же, как он старался избегать Кристин, потому что у нее были такие же серые глаза, как у его отца, он женился на Хид в пику старому Дураку. Я вот

теперь думаю, что в каждой семье есть свой Дурак — так оно и должно быть. Во всем мире предатели помогают прогрессу. Это все равно как жить среди туберкулезных больных. Потом, когда все перемрут, выжившие станут только сильнее. Что помогает понять разницу между сильным и здоровым духом, между праведностью и правдой — а это, как ни крути, и есть прогресс. Проблема же выживших в том, что делать с местью — как избежать сладости этой гнили. Теперь вам ясно, как внутри семьи возникают заклятые враги? У них есть время и возможности вынашивать в душе злобу, которая им так мила. Хотя это и недальновидно. Что хорошего в том, чтобы лелеять сладкую ненависть, когда человек, отравивший тебе жизнь, — это тот самый (может, и единственный), кто способен и готов отнести тебя на руках в ванную, когда ты уже не в состоянии доковылять туда на своих двоих? Я частенько сидела на кровати Мэй или садилась за ее туалетный столик и наблюдала, как Хид намыливает ей зад или измельчает кое-как приготовленную для нее еду до нужной консистенции. Она стригла Мэй ногти и смахивала белые струпья с ее век. Девочка, которую Мэй всю жизнь старалась уязвить, теперь стала жен-

щиной, от кого та целиком зависела, чтобы не упасть головой в помойное ведро. И Кристин это тоже делала — с нескрываемым отвращением, но делала: проветривала комнату, подметала, кормила с ложечки, подтирала, перекатывала на прохладную сторону кровати невыносимо душными ночами. Но с другой стороны, какой смысл было тратить время, да и всю жизнь, на попытки сбагрить ненавистную женщину в психушку, раз дело кончилось тем, что пришлось для нее колоть лед на кусочки и давать ей его пососать в жаркий день? И какой прок в том, чтобы спалить кровать, разорить гнездо, если потом ты пятьдесят лет живешь на пепелище? Я помню, как мистер Коузи обошелся с Хид на том банкете по случаю дня рождения Кристин. Я ей тогда посочувствовала всем сердцем, и ему об этом сказала. Пока он что-то искал в кармане, а Мэй с Кристин ждали его в машине, я подошла к нему и тихо произнесла: «Никогда больше не поднимайте на нее руку, что бы ни случилось! Если поднимете — я тут же уйду!» Он поглядел на меня — вылитый Билли-младший! — и ответил: «Я совершил ошибку, Л. Большую ошибку!» «Вы это ей сами и скажите!» — говорю. А он в ответ только вздохнул. И если бы я тогда не разволно-

валась, я бы сразу поняла, по кому он вздыхает.

Я так толком и не выяснила, что там произошло во время танцев, а моя мать не хотела меня посвящать. Вскоре после их отъезда Хид что-то задумала — я сразу догадалась! Она позвонила отельному официанту и попросила зайти за ней. Спустя час после того как она уехала, слышу: к отелю подкатил грузовик, хлопнула дверца. Потом высокие каблуки зацокали по коридору. Не прошло и пяти минут, как я почуяла запах гари. Мне хватило ума подняться наверх с ведром воды. А потом уж я бегала туда-сюда, в ванную и обратно, чтобы наполнить ведро. Но когда горит матрас, вода не поможет. Тебе кажется: ну, все, огонь потушен, ан нет, он затаился глубоко в горке пепла и ждет, когда ты уйдешь, чтобы опять полыхнуть по новой. Тогда уж он сожрет все дотла. Я притащила мешок сахара — самый большой, какой смогла найти в кладовке. И когда Мэй с Кристин вернулись, их кровать была «в шоколаде» — в смысле, в сахарном сиропе.

Хид так и не призналась, хотя и не отрицала, что это она устроила пожар, и я потом недоумевала, почему же она, разозлившись на мужа, выместила свою злость и обиду на Кристин. Больше я не удивляюсь. Как я не удивляюсь, почему он

пребывал в благодушном настроении, узнав, что учудила Хид. Мэй, само собой, так ее и не простила, и двадцать восемь лет спустя наслаждалась тем, что злейший враг кормит ее с ложки. Это для нее тогда было куда приятнее, чем если бы сиделкой при ней стала ее дочь — что в конечном счете и произошло.

Вторжение Кристин в дом Хид, сами понимаете, встретила в штыки. Хотя она с радостью возложила на нее заботы о Мэй. А на тот случай, если Кристин вдруг передумает, найдет себе работу и упорхнет, Хид и сама слегла и, скрючив пальцы, перестала заниматься домом. Поначалу мне казалось, что Мэй обрадуется возвращению дочери, хотя Кристин всегда была для нее большим разочарованием. Их вечные ссоры были прямо как конкурс по сочинению разных оскорблений друг для друга, и между отдельными турами этого конкурса проходили долгие годы, когда их общение прерывалось. Вот почему меня так удивила реакция Мэй. Она перепугалась! Она не была уверена, что как-нибудь ночью дочь не придушит ее подушкой. Как бы там ни было, заявляется Кристин, с кучей кулинарных рецептов и с растениями в горшках, которые она расставила по всей комнате. По правде говоря, и ее стряпня, и ее рас-

тения быстро свели больную женщину в могилу. Кристин год или около того изображала из себя блудную дочь, а потом в один прекрасный день, на рассвете, Мэй умерла. С улыбкой на устах.

Уж не знаю, чему она улыбалась. Ничего в ее жизни не выходило так, как ей бы хотелось, — ну разве что ей удалось всадить топор войны между Кристин и Хид, когда те еще были детьми. И этот топор засел глубоко, разграничив землю, на которой обе стояли. Когда Кристин наклонялась к Мэй, чтобы смахнуть хлебные крошки с ее подбородка, та замечала в глазах дочери знакомое выражение. Как и раньше, они опять перемывали косточки Хид, пересказывали друг другу старые истории: как Хид когда-то пыталась их надуть, притворяясь, будто умеет писать, как она уронила с тарелки на пол свиную отбивную, потому что не умела пользоваться ножом, и как ее постельные игрища с мистером Коузи не возымели успеха и не отвратили того от загулов, и в какой дурацкой шляпке она приперлась на его похороны. Наконец мать и дочь подружились. Десятилетия вражды, проявлявшейся в ссорах из-за Малкольма

Икса, Мартина Лютера Кинга, Сельмы[46]*, Ньюарка, Чикаго, Детройта и Уоттса, остались позади. Точно так же отпал вопрос, что лучше для чернокожих, потому что на него уже ответила Хид. Она была тем атавизмом, с которым они обе сражались. Никто не выиграл, но они сошлись на цели своей борьбы — вот потому-то, думаю, Мэй и встретила улыбкой свой последний рассвет.*

Хид скрючила пальцы, а Кристин свои унизала бриллиантами. Но это не важно. Они все еще продолжают свое сражение, словно чемпионки, а не жертвы. Постыдились бы!

---

[46] Примечания: 46

Имеется в виду организованный Мартином Лютером Кингом марш за равенство избирательных прав белых и чернокожих американцев, который состоялся в 1965 г. в городах Сельма и Монтгомери, штат Алабама.

7. Страж

— Ума не приложу, что сказать мальчишке.

— Уж придумай что-нибудь. Да побыстрее. А не то я с ним сама поговорю.

— Что? Что ты можешь ему рассказать?

— Расскажу, зачем нужна молния на ширинке. Об ответственности отца. Об уровне смертности от СПИДа.

— При чем тут СПИД?

— А кто ж ее знает, где она была, с кем спала. И вообще — кто она? Родственников нет, никто о ней никогда не слышал. Одевается как уличная девка, ведет себя как…

— Они бы не наняли ее на работу, если бы с ней было что-то не так. У нее, наверное, есть рекомендации или что-то подобное.

— Ты страдаешь старческим слабоумием или только притворяешься?

— Чья бы корова мычала…

— У Кристин такая репутация, что Иезавель[47] может позавидовать, а Хид — из семейки Джон-

[47] Примечания: 47

В Библии жена израильского царя Ахава, ставшая символом безнравственной женщины.

сонов, не забывай!

— И как это понимать?

— А так, что в их семейке не имеют представления о моральных принципах. Что может знать о морали и ограничениях Хид, которая выскочила замуж в самом что ни на есть подходящем возрасте — в одиннадцать лет…

— Но она никогда не заигрывала с Коузи, и, сама знаешь, никогда не оправдывала прошлого Кристин. И ее нельзя осуждать за то, что сделал ее папочка.

— Нет, но я прекрасно знаю цену ее папочке. И разве не она пыталась спалить собственный дом?

— Я в эти бредни не верю!

— Ну, знаешь ли, яблоко от яблони недалеко падает. Если уж они взяли на работу такую девицу, как эта, представляю, что там вообще у них происходит! И как можно им доверять — что одной, что другой? Только потому, что Хид позволяет Ромену убирать мусор у нее во дворе, не означает, что она стала другой.

— Какой другой?

— Не той лживой стервой, которая манипулирует людьми.

— А мне казалось, мы обсуждаем поведение

Ромена.

— Именно! Его поведение, которое находится под влиянием бывшей шлюхи и злобной ведьмы. Послушай, Сэндлер, я не собираюсь становиться прабабушкой, или бесплатной сиделкой, или бездонным кошельком для чумазой мамки-малолетки только потому, что тебе нечего сказать четырнадцатилетнему внуку. Кроме того, мы несем ответственность за Ромена. На нас возложила эту ответственность наша дочь! Она на нас рассчитывает.

Сэндлер только ворчал в ответ на доводы жены. Он-то знал, что сказать Ромену, хотя и понимал, что ни к чему это не приведет. Запрет общаться с девушкой только раззадорит парня, сделает ситуацию еще более заманчивой. Нет, он не станет ему советовать придирчиво выбирать девушек и отказаться от той единственной, к чьему телу он получил доступ. Это все равно что запрещать утке переваливаться на ходу. Для разговора надо придумать что-то другое. По крайней мере, затронуть тему презервативов, хотя Вида требует большего — чтобы внук вообще прекратил видеться с девчонкой. Это уж совсем невозможный вариант, к тому же, по его разумению, в сложившихся обстоятельствах Ромен действовал

вполне разумно. Он не употреблял наркотики, не якшался с уличными бандами, не имел проблем с полицией, да и его манеры заметно улучшились. Но Вида права. Их район сильно изменился, да и времена теперь не те. Они не знали эту девицу и давненько не слышали новостей о житье-бытье женщин Коузи. Только слухи, догадки и попреки местных жителей, которые о событиях в том доме знали ничуть не больше, чем они с Видой. А было время, когда все про всех знали всё. Было время, когда один отец мог пооткровенничать с другим о своем сыне или дочери, а женщины в узком кругу могли перемыть косточки блудливой девчонке. Но не Джонсонам. Им косточки никто не перемывал. Они были белыми воронами даже в Ап-Бич, где все жили буквально бок о бок друг с другом и где каждый чих, каждый косой взгляд сразу подмечался и обсуждался.

О господи, думал он, с тех пор прошло уже пятьдесят лет. Какой смысл вспоминать старые добрые времена, будто они были безоблачными? Он точно знал, что о многих вещах из их прошлой жизни попросту не вспоминали. Вот Вида, перечисляя чужие прегрешения, ни разу ни словом не обмолвилась о Билле Коузи. Ее послушать, так будто это Хид домогалась пятидесятилетнего

мужчины, который был старше ее отца, и наконец его соблазнила. И будто это она вышла за него по собственному желанию, а не потому, что ее к этому принудили. А Вида, как и большинство людей, скорее всего, недолюбливала эту девчонку из-за того, что та долгие годы оставалась женой Коузи и ей нравилось быть его женой, и в конце концов к ней перешел бизнес мужа. Все привыкли думать о ней как о прирожденной лгунье, золотоискательнице, которой уже в одиннадцать лет было невтерпеж воспользоваться найденной золотой жилой. Они простили Коузи. Простили ему всё. И были готовы обвинять ребенка за интерес, который возник к ней у взрослого мужчины. Но что же ей было делать? Сбежать? Но куда? Оставалось ли на земле место, где бы ее не нашел Билл Коузи или Уилбур Джонсон?

Сэндлер был последним, кто видел Хид — в тот самый день, когда он пришел в дом на Монарх-стрит и попросил ее нанять Ромена поработать во дворе вечерами после школы. Она была с ним учтива. Опрятная, чистенькая, как всегда. Предложила ему стакан кофе со льдом — вероятно, чтобы продемонстрировать ему нынешний статус Кристин в доме. У Сэндлера, в отличие от остальных, она не вызывала сильного раз-

дражения. Он догадывался почему: из-за того, что когда-то водил дружбу с ее мужем. И она не казалась ему заносчивой или колючей, видимо, потому, что он вспоминал слова Билла Коузи, признавшегося однажды, что он не дотрагивался до этой девочки, пока у нее не начались первые месячные, а потом выждал еще год и только потом повез ее в свадебное путешествие — «для инициации». Правда, в ее присутствии ему было как-то неуютно. Он даже не мог сказать, хорошенькая она или нет, потому что стоило ему о ней подумать, как на ум приходили чужие слова: «фальшивая», «обидчивая». А ведь фальшивой можно назвать любую, кому посчастливилось в одночасье перенестись из лесной лачуги в королевский замок. А обидчивой стала бы любая, кто на себе испытал всеобщую зависть и нескончаемые придирки Мэй. Но Сэндлер видел в ней не то, что видел Билл Коузи. Для того жена оставалась такой, будто и не было двадцати пяти лет их совместной жизни. Та Хид, о ком с пьяным умилением вспоминал Коузи во время их рыбалок — словно о покойнице, — была не хмурой женщиной, постоянно готовой выслушивать упреки по поводу ее очередного проступка или промаха, а длинноногим ангелочком с горящими глазами

и обаятельной улыбкой.

Всегда ощущавший неловкость, когда мужчины пускались рассказывать ему подробности своей сексуальной жизни (уж, конечно, сам он никогда таким ни с кем не делился), Сэндлер старался сразу перевести беседу на другую тему. Однако он не забыл, с каким мечтательным выражением Коузи предавался воспоминаниям о своем первом впечатлении от Хид: узкие бедра, плоская как доска грудь, кожа мягкая и влажная, как губы. Незаметный пупочек над редкими и нежными, как у новорожденного, волосиками. Коузи никогда не мог внятно объяснить свое влечение к ней, кроме как из желания воспитывать ее и наблюдать за ее взрослением. И это постоянное, с близкого расстояния, наблюдение, удовольствие от которого неведомо большинству мужчин, помогало ему сохранять свое истинное «я» и свою жажду жизни. Восторженные разглагольствования Коузи о юной жене не вызывали у Сэндлера, вопреки его ожиданиям, чувство отвращения, потому что из этих рассказов возникал портрет не маленькой девочки, а модели из глянцевого журнала. Хотя к тому моменту у Коузи уже были в любовницах взрослые женщины, его все еще возбуждала мысль о невесте-ребенке. Вида

на этот счет никогда не делилась своим мнением, но Сэндлеру и не хотелось выслушивать ее свирепые комментарии, затронь он эту тему, да и не собирался он своими догадками ниспровергать с пьедестала ее идола.

«Так-так. Вот в чем моя задача», — подумал Сэндлер. В тот день, когда к ним приехал Ромен, он сразу понял, что ему теперь придется оберегать мальчика. От плохих полицейских, уличных драк, смертельно опасной наркоты, тюремных заточек, шальных пуль повздоривших белых. Но он не мог и подумать, что главной угрозой для внука и настоящей опасностью может стать молодая женщина. И они с Видой придумали способ, как ему остаться с внуком наедине. К его удивлению, парень ничуть не возражал. Неужто ему тоже хотелось потолковать по душам?

Вида стояла у окна, потирая руки, — этот жест говорил о том, что она добилась своего. Увидев, что муж и внук вместе уезжают по какому-то делу, она успокоилась. Поколение Ромена заставляло ее нервничать. Ничего из того, что ей запомнилось из собственного детства или чему она научилась, воспитывая Долли, на них не действует — вот родители и ломают голову. Сегодня как наступает Рождество, у всех первая

мысль — о детях. А люди ее поколения о детях вспоминали в последнюю очередь. Теперь дети заливаются горючими слезами, если на их дни рождения родители не закатывают банкеты, а в старое время этот день мало кто вспоминал. Истории о жизненных трудностях, которые ей рассказывали родители и которые завораживали ее и закаляли дух, заставляли Ромена зевать от скуки. Разрыв между поколениями, конечно, явление нормальное, но не вечно же так будет. Юнец, что опрокинул ведро нечистот на Билла Коузи, действовал не в одиночку. Многие тогда его поступок радостно одобрили.

В тот день жара стояла несусветная. Вдруг смех и аплодисменты прервали выступление певца. А Коузи как раз чинил спиннинг позади отеля. Забрасывал леску, наматывал на катушку, снова забрасывал. Он вышел к танцплощадке посмотреть, что там за шум — а может, хотел послушать песню, прочитать знамения в небесах: что там — то ли мольбы, то ли угрозы. Когда он подошел поближе, со спиннингом в руке, кто-то решил повысить градус разгоревшейся дискуссии: все началось с увещеваний, переросших в спор, а потом вылилось в заранее спланированный скандал. Какой-то сопляк выскочил из толпы и вылил

на голову Билла Коузи ведро с нечистотами из хлева. Но веселье захлебнулось, когда Коузи так и остался стоять где стоял, а свинячье дерьмо стекало ему на брюки и туфли. Он не шелохнулся, даже не стал осматривать свой костюм. Вместо этого он внимательно посмотрел каждому в лицо, словно собрался их фотографировать. Потом прислонил спиннинг к перилам веранды и двинулся на толпу. Медленно.

— Привет, Белла! Добрый вечер, мисс Барнс! Рад тебя видеть, Джордж! Ты починил свой грузовик? — Он обращался к молодым и пожилым. — Как дела, Пит? Твоя дочка все еще в колледже? Хорошо выглядишь, Франси! А, и ты здесь, Шуфлай!

Люди вежливо отвечали на его приветствия, и их слова словно бы разгоняли резкую вонь от прилипшего к его рукавам дерьма. Наконец он поднял руку, махнул всем на прощание и удалился, точно только что вступил в президентскую должность или принял крещение. Толпа не расходилась, но ее ряды дрогнули. Вот какой была пропасть между поколениями в 1968 году, но Коузи сумел ее преодолеть, разрядить накалившуюся обстановку, заявить им: «Я не чужак и не враг». В ту пору разговор, уважительный и серьезный,

и был мостом через пропасть. А иначе в этой пропасти продолжало бы бурлить свинячье дерьмо. Он так и не сделал того, чего у него просили — отдать часть своей земли, — хотя и пытался. Вида не в курсе, кто именно — Мэй или Хид — этого не допустили, но она была благодарна той, кто на этом настоял. Жилые новостройки были нужнее курсов гончарного дела. И кем бы они теперь были? Бездомными тренерами по ушу, недоучившимися бродяжками, чьи дети росли бы в полуразвалившихся хижинах и в кузовах грузовиков. Выбор, считала она, состоял не в том, чтобы подчиниться власти или пошатнуть ее. Надо было просто выполнять свой долг перед семьей, а в данный момент это значило — серьезно поговорить с внуком. Вида не сомневалась, что у Ромена есть природная склонность заботиться о других, но сейчас, похоже, у него не было ясного понимания, на кого направить свою заботу.

На заднем сиденье пятнадцать накрытых алюминиевой фольгой подносов высились штабелем на газете, и к каждому была прилеплена бумажка с именем. А в списке лежачих больных, который Вида приладила к солнцезащитному козырьку над лобовым стеклом, значились еще и адреса — как будто Сэндлер мог запамятовать, где Элис

Брент сейчас снимает комнату и куда въехал мистер Ройс с дочкой, работавшей в ночную смену. Или что мисс Коулман, которая все еще ходит на костылях, живет со своим слепым братом на Говернор-стрит. Лежачим привозили еду на выбор: рыба, цыпленок или запеченное на углях мясо, и соцветие витавших ароматов превратило старенькую машину в передвижную кухню, где язык развязывался сам собой.

Ромен не успел залезть, как сразу включил радио и стал вертеть рукоятку настройки, пока не нашел любимую станцию: такую музыку Вида заставляла его слушать дома в наушниках — потому что ее раздражало гулкое буханье и ритмично меняющееся выражение лица внука, а не слова. Сэндлеру такая музыка тоже нравилась, хотя он и был согласен с женой, что, в отличие от обтекаемых выражений в песнях его поколения («Мне хочется морепродуктов, милая! Цыпленок с рисом — это прекрасно, но нет ничего лучше морепродуктов, милая!»), язык любимых песен Ромена был не изысканнее масляного пятна. «Только засоряет и корежит ему мозги!» — так отзывалась об этой музыке Вида. Сэндлер потянулся к приемнику и выключил. Он ждал, что Ромен начнет канючить, но тот не проронил

ни слова. Они молчали всю дорогу до первого адреса в списке. Пока Сэндлер шел к входной двери, его обступили трое ребятишек и чуть не по карманам стали шарить, так что ему пришлось шлепнуть их по рукам. Элис Брент настойчиво приглашала его войти, но отстала, узнав, что, хотя она и первая в списке, ему нужно развезти по разным адресам еще четырнадцать порций. Польщенная своей привилегией, она отпустила мужчину с миром. До его ушей донесся щелчок из салона — это Ромен торопливо выключил радио. Слишком поздно: Сэндлер все слышал! Ну, во всяком случае, паренек уважает мои предпочтения, подумал он. Отъезжая от тротуара, он стал придумывать тему для беседы, которая бы предваряла предстоящий допрос. У них с Видой не было сына. А Долли, мягкосердечная, покладистая дочка, сумела сгладить бунт против родителей, сначала рано выскочив замуж, а потом завербовавшись в армию. Но это же не так и трудно. Родному отцу и деду не составляло труда указывать Сэндлеру, что делать. Это были короткие, лающие команды: «Никогда не взваливай на себя груз лентяя!», когда он перетаскивал сразу помногу, чтобы избавить себя от частых перебежек туда-обратно. «Если она себя не уважает, она и тебя

не будет уважать!» или «Не вешай штаны там, где нельзя повесить даже шляпу!», когда он готовился к легкому завоеванию девушки. Ни тебе долгих проповедей, ни тебе бесед по душам. Но с Роменом такой номер не пройдет. Все попытки Сэндлера в этом направлении заставляли внука только обиженно дуться. Дети девяностых годов не желают выслушивать «народные мудрости» или заучивать уроки старших, слишком пропахшие нафталином, чтобы их зубрить, не говоря уж о том, чтобы им внять. Более дельные советы им дает язык их бухающей музыки. Чистый, без закуси. Черный, без сахара. Четкий, как пуля.

— Она беременна?

Ромен оторопел, но не разозлился и не стал юлить.

— Нет! Почему ты спрашиваешь?

Хорошо, подумал Сэндлер. Вопрос задан напрямую, как это делал его собственный отец, но без угрозы.

— Потому, что ты проводишь с ней уйму времени! Чем вы занимаетесь?

— Ну, разным.

— И чем же?

— Ну, там… катаемся по городу. В прошлую субботу ездили в заброшенный отель на берегу.

Просто так, посмотреть.

В незнакомом месте лечь можно на все что угодно — хоть на дощатый поддон для ящиков. Она настояла, чтобы он сел за руль, и у него вспотели ладони от возбуждения. Не от того, что он не умел водить, а потому, что ей нравилось ласкать его и отвлекать от дороги, а он с замиранием сердца старался держать руль ровно, чтобы не врезаться в дерево или не съехать в кювет, пока они оба давали волю рукам.

— Вы внутрь заходили? — спросил Сэндлер.

— Ага. Там было открыто.

Увидев двери с висячими замками и окна с непробиваемыми стеклами, Ромен так рассердился, что шарахнул кулаком по стеклу, — решимости ему добавила рука Джуниор, шалившая у него в кармане джинсов. Они думали, что там будет страшно: паутина под потолком, горы мусора по углам. Но нет, сверкающая при дневном свете кухня гостеприимно пригласила их полежать на столе, а потом и под ним, между ножек. Другие помещения, где царил полумрак, оказались не менее соблазнительными. Джуниор вела счет комнатам, в которые они попадали, предаваясь поцелуям и объятиям в каждой, от вестибюля до верхнего этажа.

— Ни за что не поверю, что там за все эти годы никого не было, — покачал головой Сэндлер. — Наверняка там «крысиное казино»[48].

— Ну, может, и так.

Никаких крыс там не было. Птицы были. Летали и чирикали под потолочными перекрытиями. И все пропахло вином.

— Я так понимаю, вам там никто не помешал?

— Не-а. То есть… Мы просто смотрели, дурачились, понимаешь?

— Послушай, кого ты хочешь обмануть!

— Нет, ну как… то есть…

— Парень, давай по-мужски…

Ромен разглядывал свои высокие кроссовки. Черные, с клевыми белыми шнурками.

— Хватит дурака валять. Давай-ка напрямик.

— Ладно. Ну, ей нравится… ей нравится… — Ромен почесал коленку.

— А тебе нет?

— Ох, ну ты же сам знаешь, как оно бывает…

— Что же там произошло?

— Ничего. То есть, правда, ничего. Мы там погуляли, все обсмотрели. Ничего особенного.

Если не считать чердака. Чтобы туда попасть,

---

[48] Примечания: 48
Подпольное, нелегальное казино.

ему пришлось взгромоздиться на стул, дотянуться до цепочки, потянуть и, раскрыв складную лесенку, по ней залезть наверх.

— Нам нужны спички, — сказал он ей, — или фонарик.

— Нет, не нужны, — прошептала она. — Я люблю темноту.

Когда они туда влезли, раздался шелест крыльев и чириканье. Летучие мыши? Нет, крылышки, мелькнувшие сквозь сноп света, освещавший темный чердак снизу, оказались желтыми, и он чуть не воскликнул: «Ух ты, канарейки!» — и тут она притянула его к себе. А дальше началась игра в прятки, когда они прорывались сквозь заросли паутины, теряя и вновь находя друг друга в кромешной тьме, спотыкаясь, ударяясь головой о балки, падая, хватая друг дружку за ноги, шею, потом тесно обнявшись, оглашая тьму радостным хохотом и стонами удовольствия и боли. Птицы свиристели. Сверху на них с шумом валились картонные коробки, распахиваясь при ударе об пол. Половицы скрипели, а некоторые расщеплялись под их весом, и щепки впивались в нагие тела, чем только обостряли ощущения от игры и настраивали — вот уж чего он никак не ожидал — на серьезный лад.

— Ничего особенного, говоришь?

— Ну, дошло до такого… Я повел себя с ней грубо — наверное, ты бы так сказал. Понимаешь, о чем я?

Он толкнул — точнее, впечатал — ее в стену после того, как она крепко сжала в ладони его хозяйство — и когда он куснул ее за сосок, сильно куснул, она не заплакала, а радостно застонала. И потом все вмиг изменилось. Черное сменилось красным. Было такое ощущение, будто он смотрит на все как бы извне, и он ясно видел себя в темноте — свою потную, всю в синяках, кожу, свои сверкающие зубы и полуприкрытые глаза.

— И что ты сделал, Ромен? Давай выкладывай!

— Не я. Она.

— Ты можешь просто сказать, парень?

— Она любит, чтоб было грубо, вот и все. То есть ей нравится, когда делают больно.

Сэндлер затормозил перед перекрестком. И только потом осознал, что остановился на зеленый свет. Ромен отвернулся и глядел в окно, ожидая от деда какой-то реакции, какого-то заслуживающего доверие комментария, какого-то ответа взрослого на вопрос, запрятанный в его исповеди. Если дед усмехнется — это одно. Если упрекнет — совсем другое. А есть ли третий вари-

ант? Свет на светофоре сменился.

— И что ты сам о ней думаешь?

Сэндлер медленно поехал на красный, делая вид, будто ищет нужный адрес.

— Чудачка она. Просто чума.

Ей не просто нравилось *так*, она только *так* и хотела. Но и его это тоже заводило. Глядя на происходящее как бы со стороны, с холодным спокойствием, без улыбки, он видел себя, видел, как он причиняет и испытывает боль, от которой даже трудно кричать, но тебя охватывает неведомая радость, и понял: тот Ромен, который не мог вынести вида детских ручек, привязанных, как варежки, к спинке кровати, и фиолетового лака на обгрызенных ногтях, и мерзкого овощного смрада дергающихся потных тел, — тот Ромен испарился. Чтобы уже никогда, он был уверен, не возвращаться. Но, правда, не совсем, не полностью. От него остался бледный силуэт, полустертый двойник, который потом, после всего, испытывал не стыд, а досаду. Когда они ехали от заброшенного отеля, он возмущался («Остынь, милая. Прекрати же! Ты хочешь, чтобы я разбил машину?»), что ее сапоги сбрасывают его кроссовки с педалей, что кончик ее языка щекочет ему шею, а голые соски лезут в ушную

раковину. Кроме того, там еще кое-что произошло. Впервые за все время Джуниор сняла сапоги и носки. Когда они разделись на кухне, Джуниор, по своему обыкновению, осталась в одних носках. А на чердаке скинула и их, крепко обвязав один носок вокруг его шеи. Уже спускаясь по лесенке с чердака, он поднял взгляд вверх. Джуниор сидела на краю чердачного люка и натягивала второй носок. Он не мог хорошо разглядеть — свет в коридоре был тусклый, — но нога, на которую она надевала носок, показалась ему копытом.

— Чудачка, говоришь? Я, знаешь ли, не больно-то верю в свободу воли. Какая уж свобода воли, раз ты ничего не контролируешь…

Сэндлер припарковался перед бледно-голубым домом. Клочковатая трава на лужайке перед ним пожухла от зноя.

— Но в жизни, говорят, есть несколько вещей, которые ты можешь контролировать, — ну, скажем, ты сам выбираешь с кем гулять. Похоже, ты связался кое с кем, кто тебя смущает, с кем ты чувствуешь себя не в своей тарелке. А это ощущение точнее инстинкта. Это твоя личная информация, самая надежная. Ты же не можешь всю жизнь принимать во внимание то, что говорят другие, но вот на это обращай внимание всегда. И не

огорчайся, если тебе придется отступить — это вовсе не значит, что ты слюнтяй. Если вовремя отступить — можешь спасти себе жизнь. Ты не беспомощен, Ромен. Даже не думай так. Бывает, что требуется больше мужества, чтобы порвать отношения, чем продолжать. Иногда бывают друзья, которых лучше не приглашать домой. Для этого ведь есть свои причины, ты меня понимаешь?

— Да, дед. Я понимаю.

— Женщина играет в жизни мужчины важную роль, и иногда тебе везет втройне, когда ты получаешь от нее вкусную еду, хороший секс и приятную беседу. Многие мужчины согласны получать хотя бы одно удовольствие из трех и просто прыгают до небес, когда получают два. Но вот что я хочу тебе сказать. Хороший мужчина — это хорошо, но нет на свете ничего лучше, чем очень хорошая женщина. Это может быть твоя мать, жена, любовница, сестра, кто-то, с кем ты вместе работаешь. Не важно. Если найдешь такую, держись за нее. Если же видишь ту, которая тебя пугает, беги от нее без оглядки.

— Я тебя понял, — кивнул Ромен.

Подносы с едой уже остыли, но от них все еще исходил аппетитный аромат, и настроение у

Сэндлера улучшилось, когда они покончили с доставкой. Ромен был рад помочь, на каждой остановке первым выскакивал из машины, поднимал подносы над головой, точно официант, и спешил к двери. Виде это понравится. Не волнуйся, успокоит он ее. Расслабься. Он взглянул на внука: он не включил радио, а прижав затылок к подголовнику, задремал.

Ромен сидел с закрытыми глазами. Он сглотнул слюну, предвкушая встречу с Джуниор. Его возбудил даже разговор с дедом о ней. И что бы его ни смущало, она его сводила с ума. Сейчас даже больше, чем в тот раз, когда она впервые проявила инициативу. А теперь, когда нежность перемешалась с грубостью, и избитый язык вожделения разбился вдребезги хлестким сквернословием, он в их паре стал главным. Он мог бы даже ее побить, если бы захотел, и она бы все стерпела. Странно. Она была как породистая собака. Приласкай или отхлещи ее — она все равно будет к тебе ластиться.

Радиоприемничек и магнитофон — это для нее. А банная мочалка на короткой палке — для Хид. Как и щетка для волос с тонкими щетинками — тоньше, чем у той, которой сейчас пользуется Хид. Джуниор разложила покупки в столовой

на обеденном столе. Хид не оценит щетку, но ей понравится удобная мочалка с ручкой для личных нужд. На конце рукоятки было веревочное кольцо — надевать на запястье, чтобы щетка не выскальзывала из ее ослабевшей ладони. «А лучше всего, — подумала Джиниор, — убедить ее принимать не ванну, а душ. Поставлю ей туда скамеечку. Так безопаснее. И проще. И уговорю ее установить два душа — один у нее в ванной, а другой на втором этаже. У нее же денег куры не клюют, а тратить их не на что. Запирается перед сном на ключ, днем никуда не выходит. А теперь ей, видите ли, приспичило, чтобы ее отвезли в отель — тайком». Ни Кристин, ни Хид никогда не входили в другие помещения большого дома, и даже не знали, что там нужно переделать. «В этой столовой, огромной, но не используемой, требуется перестановка. Выбросить никому не нужный потолочный вентилятор, уродливый обеденный стол. Поставить несколько диванчиков, стульев, большой телевизор». Джуниор улыбнулась, осознав, что мысленно обставляет эту столовую точь-в-точь по подобию комнаты отдыха в колонии. А почему бы и нет? И в гостиной нужна перестановка. Она выглядит ужасно старомодно. Как в доме из старого телесериала

с крикливыми богатенькими детишками и их словоохотливыми родителями. Она прошла по коридору и уселась на софу в гостиной. Трехсекционная, бирюзового цвета, на некогда белом ковре. Блестящие грушевидные лампы на столиках возле софы, обе треснутые. Два полотнища полосатых портьер провисли на карнизе, другие продрались. Боевые раны, подумала она. Нанесенные еще до того, как обе тетки постарели или слишком устали от своих сражений и негласно заключили бессрочное перемирие.

Сидя в гостиной, Джуниор вдруг испытала восторг от полноты ощущения жизни, жизни в этом доме, настоящем доме. Первом ее жилище. Где у каждой комнаты было определенное назначение и где нужно было размещать определенные вещи. Интересно, а какая мебель нравится ее Добряку? С бархатной обивкой? Плетеная? Это он выбирал обстановку? Ему вообще было до этого дело? «Тебе тут не нравилось, правда? А кто разбил эти лампы? А кто их опять склеил? Кристин? А кто пытался сорвать портьеры? Хид? Она говорит о тебе не умолкая. Как она тебя обожала. Но она же прикидывается, да? А Кристин тебя просто ненавидит. Твои глаза на портрете улыбаются, а губы вроде бы голодные. Ты взял в

жены одиннадцатилетнюю девочку. А когда я в одиннадцать лет убежала из дома, меня вернули обратно, а потом отправили в колонию. У меня был игрушечный солдат, но его у меня отобрали. Если бы ты знал меня тогда, никто бы не стал со мной связываться. Ты бы обо мне заботился, потому что ты понимаешь и меня, и вообще все, и ты бы никому не позволил меня обижать. Ты женился на Хид, чтобы ее защищать? Это был единственный способ? Директор попробовал заставить меня кое-что ему сделать. Силой. А я не далась. Если бы ты там был, ты бы его убил. Мне сказали, что именно это я и хотела сделать, но я не хотела. Не пыталась. Я знаю: ты меня сюда позвал. Я прочитала объяву в газете, которую подобрала на автобусной станции. Газета лежала рядом со мной на скамейке. Шансов было мало. В туалете я вытащила две двадцатки из чужой сумочки. Женщина оставила сумочку на краю раковины, когда отошла к сушилке для рук. Я нарочно уронила сумочку и извинилась. И она не проверила. А Терри дала мне поносить кое-что из своих вещей. Ну почти. То есть она бы ни за что не дала, если бы я у нее попросила. Я с ней познакомилась в «Красной луне». В колонии мне выдали сто долларов за три года работы. Я их

потратила на кино и рестораны. Терри была официанткой в «Красной луне». Мы подружились, много смеялись. Она предложила мне спать у нее, когда я ей рассказала, что обычно сплю днем. На скамейках в церкви, кинозалах, на песке у причала. Все время приходилось бегать с места на место, а то если бы меня заметили копы, решили бы, что я пьяная или обкуренная. А я не пью и наркотой не балуюсь. Это приятно, конечно, но когда у тебя в голове туман, много теряешь. А я не хочу ничего терять в жизни, вообще ничего. Потому что слишком долго пробыла взаперти. Наверное, сама виновата. Мне было пятнадцать, и я уже собралась на выход. Надо было догадаться. Но я же имела дело только с мальчиками, а не с мужчинами. Тебе нравится мой Дружок? Он красавчик, правда? Такой милый и такой мерзкий! А какие у него ноги! И плечи шириной в милю, и они не двигаются, когда он шагает. Боже! Я хочу его удержать при себе, ладно? Он сегодня опоздал, потому что ездил со своим дедом по делам. В гараже была страшная холодрыга, но мы все равно трахались и ели барбекю. Видел бы ты! Но ты же видел? Ты уходишь, когда захочешь, и я знаю, что в отеле тебе нравилось больше, чем в этом доме. Это я сразу поняла, когда мы с моим

Дружком туда ходили. В отеле я везде ощущала твое присутствие. Хид хочет, чтобы я там что-то для нее сделала. Она не говорит что, но я знаю: так она надеется раз и навсегда разделаться с Кристин. Пусть и не мечтает! Они играют в игру, где в проигрыше остаются оба игрока. Но я должна удостовериться, что это не я. И не ты. Сама не знаю, почему я так сказала. Извини. Я еще не привыкла. Иногда я забываю, что ты — мой Добряк».

8. Отец

Походные ботинки, купленные когда-то по настоянию Анны Криг, сейчас были бы очень кстати! Ведь ее, чуть не в истерике выбежавшую холодной ночью в спортивных тапочках на босу ногу, поджидало немало коварных препятствий на дороге к отелю. Упрямая Анна Криг экипировалась бы основательно: рюкзак, бутылка с водой, фонарик, brot[49], сушеная рыбка, орешки. Это она научила Кристин готовить, когда их, вместе с другими женами американских солдат, расквартировали на базе в Германии. В свои неполных двадцать лет, располагая только продуктами из гарнизонного магазина, Анна виртуозно готовила свежие овощи, разные блюда из картофеля, морепродукты, а уж какие десерты — пальчики оближешь! Ее уроки поварского мастерства под пиво оживляли их длинные вечера и оттягивали неминуемый крах брака Кристин, после которого в ее душе воцарилось такое же запустение, что и в их с мужем убогой квартирке. В награду за дружбу Кристин как-то согласилась пойти с Ан-

[49] Примечания: 49
Хлеб (*нем.*).

ной в поход. Она купила по рекомендации новой подруги прочные ботинки и рюкзак, и рано утром они отправились в дорогу. На полпути к первому привалу Кристин не выдержала и взмолилась о возвращении на базу. Она задыхалась, а ступни горели огнем. Лицо Анны выражало величайшее разочарование, но и понимание. «Бедная дохлая американка! Ни упорства, ни силы воли!» Назад они топали в мрачном молчании.

Открыв входную дверь, Кристин увидела своего Эрни в объятиях жены штабного сержанта. Ей захотелось тут же дать ему коленом под голую задницу, но у нее жутко болели ноги и вместо поджопника она швырнула ему в башку шесть бутылок «Шпатена»[50] одну за другой — как будто дала автоматную очередь.

Из солидарности и стремления поднять моральный дух других солдатских жен новой американской армии, где отменили расовую сегрегацию, она считала себя обязанной изобразить все стадии ревности и ярости, но была скорее ошарашена, чем рассержена. Она просто не понимала, кем себя возомнил Эрни Холдер кроме того, что он был жалким рядовым, предло-

---

[50] Примечания: 50
«Шпатен» — марка баварского пива.

жившим ей преданность, военное довольствие и переезд в другую страну в обмен на ее блистательную и неповторимую индивидуальность. И она бросила его на следующий же день, увезя с собой рюкзак да походные ботинки, ну и вдобавок приобретенные кулинарные умения. Из аэропорта «Айдлуайлд»[51] она позвонила матери. Мэй, похоже, даже обрадовалась, услышав голос дочери, но ее намерение вернуться в Силк встретила без энтузиазма. Обрушив на Кристин поток слов, Мэй не выразила ни малейшего удивления ситуацией, в которой та оказалась, зато щедро пересыпала свою сбивчивую болтовню ядовитыми замечаниями насчет «нашей женушки из болотного края» и сожженного «автобуса свободы». В общем, Мэй ясно дала понять Кристин, что лучше ей держаться от тех мест подальше.

Описанная Мэй атмосфера в доме показалась Кристин настолько отравленной и убогой, что она решила повременить с возвращением. После двух ночей, проведенных, правда, не так чтобы уж совсем на улице (автобусная станция не в счет),

[51] Примечания: 51
В 1940-е гг. международный аэропорт Нью-Йорка.

получив от ворот поворот в общежитии ХМА[52], она поселилась в «Доме Филлис Уитли»[53]. Страна, такая благополучная и вполне успешная в тот момент, когда Кристин ее покинула, теперь была напугана красной угрозой и черными списками. Только за внешность Кристин сразу же взяли на работу официанткой в ресторан, а потом узнали, что она еще и готовить умеет. Это была приятная местная забегаловка, где она не могла без смеха смотреть на хитроумные уловки посетителей таскать еду, не заплатив, и где она проработала несколько лет, всячески избегая общения с Мэй и одновременно усиленно подыскивая себе мужа. Она нашла троих — все были женатыми, — а потом встретила Фрукта. К тому времени ее уже не занимали нескончаемые сплетни сотрудников о хозяине ресторана, его жене, кассирше и поварихе. Бессмысленное злословие ее утомило, как и пересуды о ней и очередном женатике, с которым она закрутила роман. Ей было, честно говоря,

[52] Примечания: 52

Христианская молодежная ассоциация — одна из старейших в мире волонтерских организаций, основанная в Лондоне в 1844 г.

[53] Примечания: 53

Филлис Уитли (1753–1784) — первая афроамериканская поэтесса и писательница, чьи произведения были опубликованы. «Дома Филлис Уитли» — популярные в первой половине XX в. общежития для бездомных афроамериканок.

начихать, ушел он от жены или не ушел, спит он с матерью своих детей или не спит, и тратит он на рождественский подарок для нее меньше или больше, чем на подарок жене. Но поскольку у нее с хахалями не было общих знакомых, им и не о чем было разговаривать, кроме как о знаках внимания, которые им следовало ей оказывать, и возможном разрыве. Это был всего лишь эскиз жизни, контурный рисунок на бумажной салфетке, который еще предстояло раскрасить, пока она намеренно держалась вдали от дома, так живописно изображенного Мэй. И вот в эту бесцельную жизнь вошел Фрукт, в безупречно отглаженной спецовке, с брезентовой сумкой через плечо.

— Мясо не заливай, нужно видеть что ешь.

Половник с густой подливкой замер на лету: Кристин мысленно оценила лаконичность речи. Уже потом она узнала, что выражаться точно и ярко — его привычка и дар. Когда она слушала Фрукта, все вдруг становилось таким очевидным и понятным! Вот почему она провела рядом с ним целых девять лет. Тонкокостный, но сильный, этот парень с большими красивыми руками и завораживающим голосом дал определения всем и каждому. Ее деду (буржуазный предатель), ма-

тери (из пресмыкающихся), Хид (вечная рабыня с амбициями), Эрни (продажная тварь). Все они были «простофилями», которых так язвительно пригвоздил метким словцом Малкольм Икс. Потом Фрукт обрисовал стоящие перед ней задачи. Словно извиняясь за свою светлую кожу, серые глаза и предательскую шелковистость волос, Кристин стала его верной помощницей, целеустремленной и готовой послужить общему делу. Она одевалась по традиционной африканской моде, «заострила» язык, приучив его к боевым лозунгам, умащала свои неестественно мягкие волосы гелями жесткой фиксации, начала носить с собой нож для самообороны, вдела в уши ракушки каури и отвыкла сидеть нога на ногу.

Ее опасениям разочаровать такого человека, яростного, неподкупного, требовательного, и заставить его относиться к ней не как к земле под ногами, не суждено было сбыться, потому что Фрукт любил землю. Вообще его отношение к земле, почве, к выращиванию и сбору урожая было тем романтическим увлечением, которое их объединяло. «Владей мы фермой, — любил он повторять, — она могла бы стать для нас основой существования». Кристин соглашалась, но события развивались очень быстро, а деньги

(собранные, выпрошенные, изъятые) всегда оказывались нужны для других неотложных дел.

В стране было полным-полно сонных уголков, которые надо было встряхнуть и где дезориентированной молодежи требовалось указать верное направление. Ее походные ботинки разносились на маршах протеста, а рюкзак создавал иллюзию комфорта во время сидячих забастовок. Воодушевившись энтузиазмом и поставленными целями, Кристин нашла в идее расового равенства смысл личной борьбы, из склонности к активным действиям выковалось мужество. Она едва помнила теперь темы вечных разногласий: кто-то выступал за использование армии осведомителей, грязных денег и отдельных акций, кто-то за долгосрочное планирование, кто-то за сеть подпольных ячеек, а кто-то за заигрывание с прессой. Их подпольная группа насчитывала семнадцать членов — одиннадцать черных и шестеро белых, — которые продолжили дело подпольного движения, возникшего после процесса по делу Тилла[54]. Действуя независимо, по своему

[54] Примечания: 54

Эмметт Луи Тилл (1941–1955) — афроамериканский подросток, который был убит в штате Миссисипи после того как он, по показаниям свидетелей, приставал к белой женщине. Судебный процесс над убийцами Тилла в 1955 г. привлек повышенное внимание прессы.

разумению, они примыкали к другим группам, только когда считали, что это усилит их действия. Кристин упивалась этой работой, ее вдохновляла серьезность намерений, и она всей душой была предана Фрукту. Рядом с ним, в этой работе, она никогда не чувствовала себя помехой, она была соратником. Не привередливой женой, не обременительной любовницей, не нежеланной дочкой, не игнорируемой внучкой и не временной подругой. Ее ценили. И у нее не было причин опасаться, что это все быстро закончится. Семена бунта, посеянные в 1955 году, дали буйные всходы в 1965-м, а к 1968-му созрел богатый урожай ярости. Но уже в 1970 году, побитые градом многочисленных похорон, плоды пожухли — так ей казалось. Нина Симон[55] помогла отсрочить начало конца. Ее голос придал высокий статус женскому смирению и романтический флер — обычным правонарушениям. Так что когда наступил конец, его не сразу можно было распознать. Короткий, едва слышный шум спускаемой воды в унитазе. После привычного аборта, последнего из семи, она встала, нажала на рычаг слива и стала смотреть на водоворот. В водяном

[55] Примечания: 55

Нина Симон (*наст. имя*: Юнис Кэтлин Уэймон; 1933–2003) — негритянская певица, активная участница движения за права чернокожих.

вихре, в красном сгустке крови, она заметила, как ей тогда почудилось, профиль ребенка. Это невообразимое видение всплыло лишь на долю секунды. Кристин приняла ванну и вернулась в постель. К своим абортам она всегда относилась без сантиментов, считая их освобождением от лишнего звена в цепи, на которую посажена, и ей совершенно не хотелось быть матерью — никогда! Кроме того, никто ее не осадил, не предложил оставить ребенка. Революции нужны были бойцы, а не отцы. Так что это седьмое вторжение в организм совершенно ее не расстроило. И помня, как ей тогда явилось видение пугающего глаза и затем исчезло в малиново-красном облачке, все же иногда она задумывалась, кто бы это мог смотреть на нее с таким нескрываемым любопытством. В самые неожиданные моменты — сидя в больничном приемном покое с заплаканной матерью раненого или раздавая усталым студентам бутылки с водой и пакетики с орешками и изюмом — она вдруг видела это беспристрастное око, затерявшееся в общем хаосе, среди мечущихся полицейских и пролитых слез. Отнесись Кристин ко всему внимательнее, она, возможно, смогла бы отсрочить и даже предотвратить настоящий конец, но тут неожиданно умер дедушка. Фрукт

настоял, чтобы она поехала на похороны (семья есть семья, сказал он с улыбкой, даже если они в политическом смысле болваны). Она долго не могла решиться. Ей придется опять оказаться в смертельной близости от Хид, они с матерью опять затеют споры о политике, как это бывало в ходе нечастых телефонных бесед с обменом взаимными упреками: «Ну почему вы не можете сидеть тихо?» — «Мы триста лет сидели тихо — этого разве не достаточно?» — «Но мы же все потеряем! Все, что мы заработали рабским трудом!» После этих слов в трубке раздавались короткие гудки.

Он умер. Грязный старик, кто вытолкнул ее в мир скверны, а потом ее же и обвинил в этом.

Он умер. Властный ублюдок, кто предал ее, свою родню, и отдал бразды правления в руки ее подруги детства.

Он умер. Ну и хорошо. Она поедет и посмотрит на оставленные им после себя руины.

Сейчас никто на нее не взирает. Все давно в прошлом — и беспристрастное око, и рюкзак, и походные ботинки, которые как раз теперь-то ей и нужны позарез, раз уж она намерена остановить эту змею с ее подручной и не позволить им нарушить устоявшегося равновесия в ее жизни.

В доме их нет обеих — ни Хид, ни Джуниор. Машины нет ни в гараже, ни на подъездной аллее. Что бы могло заставить Хид выйти из ее комнаты — да еще ночью? Только сатанинский умысел. И есть лишь одно место, которое может ее интересовать, — отель. И сейчас нельзя терять ни минуты, даже если придется туда бежать.

Никто бы и не подумал, что Фрукт был на восемь лет ее моложе, поэтому, естественно, он загуливал с другими женщинами. Но в том и заключались красота и честность их отношений. Она, королева-соблазнительница чужих мужей, выросшая в отеле, где постоянно слышала топот босых ног и шорохи за инвентарным складом и где постоянно видела, как женщины испепеляют друг друга злобными взглядами, понимала Фрукта как никто. Разве она не слышала, как дедушка при всех бросил своей жене: «Не виляй передо мной хвостиком! Я этого не хочу, да мне и не нужно!» — после чего оставил ее танцевать в одиночестве на банкете в честь дня рождения, а сам отправился на свидание с той, кто был ему нужен. И не считая Эрни Холдера и бутылок «Шпатена», полетевших в его голову, всех своих мужчин она вечно с кем-то делила. Она к таким отношениям привыкла и даже научилась строить их весьма

элегантно. Прыжки Фрукта в постель к другим женщинам ее не трогали совершенно. Ведь когда у тебя столько забот, не станешь же отслеживать каждую случку своего кобеля? Она была его официальная женщина, все это понимали и признавали ее в этом качестве. Даже их имена в повестке дня очередного собрания стояли рядом и звучали как название шоколадного батончика: «Фрукт-и-Крис». «Крис-и-Фрукт».

Шоколадный батончик рассыпался только после того, как изнасиловали студентку-волонтера. А сделал это парень по кличке Товарищ. Девушка, которая даже не могла злиться, так ей было стыдно, умоляла Кристин ничего не рассказывать ее отцу, университетскому декану.

— Прошу тебя, не надо!

— А если твоей матери?

— Только не ей — она все ему разболтает!

Тогда Кристин рассвирепела. Как щенок добермана на дрессуре, девушка инстинктивно скомандовала себе: «Защищайся!» Большой Добрый Папочка не должен ничего узнать.

Кристин проигнорировала ее просьбу, всем растрезвонила правду, и особенно ее порадовала реакция Фрукта. Все окружили девушку заботой, осудили и прокляли Товарища за его мерзкий

поступок, пообещав устроить ему ад, наказать и изгнать. Но не сделали ничего. Стоило Товарищу появиться, его встретили как ни в чем не бывало: «Здорово, мужик, как оно?» И когда Кристин учинила Фрукту допрос, он пересказал ей то, что сообщил ему Товарищ: я, мол, ни в чем не виноват, эта девка сама бросилась на меня, сверкая голыми сиськами, поддатая, ничего не соображая, а потом мне даже пришлось похлопать ее по заднице, чтобы напомнить о себе, а она захихикала и, вместо того чтобы врезать мне по роже, предложила пивка. Фрукт только головой качал, сетуя на людскую глупость и ретроградов-политиков. Но на большее он был не способен. Пропустив мимо ушей ее настоятельные просьбы, он так и не удосужился «поговорить» — не говоря уж о «наказать» или «изгнать». И все же Фрукт счел Товарища угрозой, но как ему об этом сказать? Да, он считал, что Товарищ подверг опасности их крайне важное дело, но не мог объявить его врагом. Посягательство на девушку не имело никакого значения по сравнению с куда более серьезным посягательством на мужскую дружбу. Фрукт мог бы за малейшую провинность отругать, изгнать, избить предателя, труса, любого придурка. Но не друга — это нападение на семна-

дцатилетнюю девушку не было даже сноской к его длинному списку Неприемлемого Поведения, поскольку изнасилованная не принадлежала к «друзьям». И Кристин вывела расовое уравнение: жертва насилия — черная, а насильник белый, оба — черные, оба — белые. Интересно, как бы повлияла каждая из комбинаций на решение Фрукта? Было бы проще, если бы слова сочувствия жертве изнасилования не перемежались неприятными вопросами других девчонок: «А *она-то* что сделала? А почему *она* не?..»

В конце концов Кристин забыла об инциденте, и ее доблестная работа во имя гражданского неповиновения и личного повиновения продолжалась, хотя иногда в ее мысли вторгалось видение детского профиля, который взирал на нее оком стороннего очевидца. Вернувшись с похорон дедушки, она раскрыла рюкзак и вытряхнула из него бумажный пакет с обручальными кольцами. Все кольца были разных размеров, но каждое с одним камушком. Как раз для двенадцати женщин, расселившихся в отеле «Розовые мечты». Но, само собой, первым делом возникал вопрос: удобные ли там номера для новобрачных? В 1973 году комнатушка на Тримейн-авеню, с ее первосортным комфортом, была ужасно

привлекательной. Особенно с учетом того, что все, радикалы и умеренные, хотели оставаться одновременно в гуще событий и в стороне, а доблестная работа на благо неповиновения сплеталась с тайным соглашательством. Арена борьбы менялась, ширилась, перемещалась с улиц и из подворотен в уютные офисы и конференц-залы респектабельных отелей.

Никому больше не требовалась уличная-активистка-кормящая-мамаша-повариха-умеющая-размножать-прокламации-участвовать-в-маршах-протеста-и-раздавать-орешки-и-изюм-демонстрантам, которая в любом случае была уже слишком стара для нового поколения мозговитых студентов и их сложных стратегий борьбы; недостаточно образованна для университетских умников, но и недостаточно легковерна для телевизионных новостей. Беспристрастное око, внимательно изученное Верховным судом[56], закрылось. И она оказалась бесполезной. Фрукт сразу уловил гложущее ее отчаяние, и они расстались по-доброму.

Он был, по мнению Кристин, ее последним настоящим другом. Он бы посетовал, узнав о

---

[56] Примечания: 56

Имеется в виду принятое в 1973 г. решение Верховного суда США о декриминализации абортов.

ее дальнейшем жизненном выборе: ты стала приживалкой при ротапринтной копии своего буржуазного деда. И правильно бы сказал, потому что после того как доктор Рио ее вышвырнул, она так и не смогла найти места, похожего на — или лучшего, чем — родной дом. Ее дом! Где ей постоянно приходится осаживать полоумную гадюку, мечтающую ее выжить. В последний раз ее везли по этой дороге в машине. Она ехала спереди, потому что ее пышным юбкам из нежно-голубого шифона требовалось много места.

На ней шикарное, как у кинозвезды, платье без бретелек, отороченное крупными стразами. Мама сидит сзади, а за рулем «Понтиака» 1939 года — дедушка, и это его раздражает, потому что на дворе уже 1947-й, и машины послевоенного выпуска все еще недоступны для большинства гражданских. Он об этом рассуждает вслух, объясняя свое далеко не праздничное настроение в разгар шумного торжества — запоздалого банкета по случаю шестнадцатилетия Кристин и окончания ею школы. Но она думает, что он нервничает по той же причине, по которой они с мамой радуются. Во время семейного обеда узким кругом, что предшествовал многолюдному банкету в отеле, им удалось избавиться от Хид, и они

с затаенным восторгом наблюдали, как муж подверг ее наказанию за плохое поведение. Наконец они остались втроем. И дремучая приставучая пигалица-женушка не отравит их великолепного возвращения домой.

Кристин, выходя из машины с дедушкой под ручку, являет собой очаровательное зрелище: о, какая красивая девушка, в таком роскошном платье, живое доказательство и плод прогресса и сбывшихся чаяний черной расы. Оркестр исполняет «С днем рождения тебя!», перекрывая гром аплодисментов, а потом плавно переходит на «Портовые огни». Мэй сияет. Кристин блистает.

В отеле полно ветеранов войны в форме, семейных пар и друзей Билла Коузи. Звучит «Как высоко луна», потому что будущее не просто манит издалека, оно уже настало, оно здесь, его можно осязать в приличных зарплатах и льготах для демобилизованных солдат при поступлении в вузы, услышать в мелодичных руладах скэт-вокализа[57]. Устреми взгляд в широко распахнутые двери, через танцевальную площадку под открытым небом и — следуй за звездами! Вслушайся в рокот прибоя, вдохни аромат океана — такой

[57] Примечания: 57

Стиль вокального исполнения в американском джазе, когда солист голосом имитирует звучание музыкальных инструментов.

приятный, такой мужской…

А потом ропот, недоверчивые шепотки. Все поворачивают головы, смотрят. Хид в центре зала танцует с мужчиной в стильном костюме. Он перебрасывает ее через голову, ловко пропускает между ног, откидывает в сторону, закручивает, отбрасывает и, согнув ноги в коленях, подается всем телом вперед, и ее виляющие бедра трутся о низ его живота. Оркестр наяривает вовсю. Толпа танцующих расступается. Билл Коузи бросает салфетку на стол и встает. Гости искоса смотрят, как он подходит к жене. Стильный костюм замирает на полусогнутых, из карманчика свисает цепочка от часов. Платье на Хид похоже на красный верх купальника: бретелька упала с плеча. Билл Коузи не смотрит на мужчину в стильном костюме, не орет на Хид и не отталкивает ее. Он к ней даже не прикасается. Музыканты, чутко реагируя на изменившееся настроение слушателей, умолкают, и все слышат, как Билл Коузи коротко изрекает обвинение и приговор…

В ушах Кристин грохочет морской прибой. Она не так близко от берега, чтобы слышать этот грохот, значит, в ушах стучит кровь от подскочившего давления. Следом закружится голова и перед глазами замелькают точки. Нужно пере-

дохнуть. Но Хид времени не теряет! Хид что-то затеяла, что-то тайное, совместно с ловкой подручной, этой паучихой, что приползла ей на подмогу.

Надо было догадаться раньше! А она и догадалась. У этой Джуниор ни кола ни двора, никого — она сама по себе. Она же ничегошеньки не знает, ни о чем слыхом не слыхивала. В ту самую минуту, как девица уселась за кухонный стол и начала складно врать, с этими своими «Да, мэм», и от нее шел такой уличный дух, что хоть нос зажимай, она сразу поняла: эта девица способна на все! Но этим она и подкупала. Разве не достойна восхищения девушка, которая сумела выжить на улице без пистолета в кармане. Дерзкие глаза, плутоватая улыбка. А ее готовность выполнить любые поручения, справиться с любыми трудностями — это же для Кристин подарок судьбы. И самое главное: Джуниор умеет слушать. Жалобы, шутки, оправдания, советы, воспоминания. Сама никого не обвиняет, не судит — просто ей интересно слушать. В этом безмолвном доме разговор с кем-то — как музыка. И кому какая разница, что она завела шашни с внуком Виды? Ему — польза. Ей — забава. Девушка, получая хороший секс, с большой вероятностью задержится тут надолго.

Но Кристин забыла девиз всех беглянок: держись, оттянись, освободись! Что означает: дружбе — да, преданности — нет!

Во мраке ночи здание отеля высится темным утесом. Вокруг ни огонька, но на аллее перед главным входом стоит машина. Голосов тоже не слышно. Где-то далеко внизу шепчет океан, и кровь гулко стучит у нее в ушах. Может быть, это западня? Может быть, она отворит дверь, войдет — тут они и убьют ее! А вот Анну Криг они так легко не сумели бы убить, той бы хватило благоразумия не выходить из дому в спортивных тапочках, без швейцарского армейского ножа. Спотыкаясь в кромешной тьме, она чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни. Это ей напомнило день, когда она впервые узнала, каким внезапным и бездонным может быть одиночество. Ей было пять, когда умер отец. В субботу он подарил ей бейсболку, а уже в понедельник его вынесли из дома на стальных носилках. Его глаза были полузакрыты, и он не ответил на ее зов. Потом в дом приходили люди, высказывали слова утешения маме — вдове. И говорили, как это тяжело потерять сына, мужа, друга. Но ей никто не сказал ни слова о том, как тяжело потерять отца. Ее гладили по головке, улыбались. Вот тогда

она впервые нашла убежище под кроватью у Л., и будь ее воля, она бы и сейчас опять туда забилась, а не шла к зданию, которое заставляло ее трепетать от страха и… — от чего еще? Да, от горя.

Кристин вглядывается во мрак, объявший ступеньки веранды, где на солнце стоит девочка, оцепенев от страха и горя, чувствуя себя покинутой. Она едва поднимает слабенькую ручку махнуть на прощание. И только бантик в ее волосах кажется еще безжизненнее, чем ручка. Она устремила взгляд на другую девочку, прижавшуюся к окну автомобиля. Мотор работает, тихо урчит, как кошка. За рулем дедушка одной из них и муж — другой. В глазах и улыбке маленькой пассажирки читаются восторг и смущение. Детская ручка слабо машет, а пальцы другой вжимаются в стекло автомобиля. А если стекло треснет? Если ее пальцы выдавят стекло, она порежется, и ее кровь потечет по дверце? Вполне может быть, потому что она очень сильно жмет пальцами на стекло. Ее глаза широко раскрыты, но она улыбается. Хочет ли она уезжать? Боится? Ни та, ни другая этого не поймут. Почему другая тоже не может уехать? Почему он увозит одну на «медовый месяц», а другую бросает? Они же вернутся, да? Но когда? Она выглядит такой одинокой в

огромном автомобиле, но она улыбается — или силится улыбнуться. Кровь прольется. Где-то должна пролиться кровь, потому что освещенная солнцем девочка на веранде еле сдерживается от желания пролить чью-то кровь. И только ее машущая на прощание рука слаба и безжизненна. Как бантик в ее волосах.

Укол боли пронзает плечо Кристин, когда она поднимается по ступеням веранды. В темноте она тянется к дверной ручке. И не находит. Дверь распахнута настежь.

— Вы точно хотите туда? А то можем вернуться! — Джуниор не заглушает мотор. Ее изящное кольцо в носу сверкает в предзакатном солнце. — Или скажите, что надо искать, а сами оставайтесь здесь.

Она нервничает. Что-то ее Добряк давно не появлялся. Она надеется найти *его* здесь, в отеле. Пока все идет неплохо, но лучше бы *он* сам это подтвердил.

— Или можем это сделать в другой день. В любое время — вы только скажите. Хотя, конечно, вам решать.

Хид не слушает ее. И не видит руины отеля в сумерках. Ей двадцать восемь, она стоит у окна на втором этаже и смотрит на лужайку, и ее взгляд

скользит еще дальше — на пляж и океан. Внизу женщины и дети похожи на бабочек, порхающих между тентами. На мужчинах белые рубашки, черные костюмы. В кресле-качалке сидит проповедник, не сняв соломенной шляпы. Она все чаще и чаще сдает номера церковным общинам, туристическим группам. Бывшие постояльцы, уже постаревшие, нечасто посещают курорт Коузи. Их детей больше интересуют бойкоты, законодательство, избирательные права. Кормящая мать сидит в сторонке от всех, прикрыв грудь белым платочком. Одной рукой она держит младенца, другой отгоняет назойливых мух. «У меня ведь тоже могли быть дети», — думает Хид. Были бы, если бы в 1942 году она знала то, что поняла в 1958 году, когда в порыве страсти отдалась другому мужчине: она вовсе не бесплодна! Тот мужчина… он приехал в отель забрать тело покойного брата и сопровождать гроб в поезде. Хид, еще не забывшая боли утраты двух братьев, сообщает ему, что номер будет пустовать в течение любого угодного ему срока. И если она еще может что-нибудь для него сделать… Он сел на кровать и разрыдался, не в силах справиться с охватившим его горем. Она тронула его за плечо, содрогавшееся от рыданий. Она еще никогда не видела трезвого мужчину

плачущим. Хид опустилась перед ним на колени, разглядывая его руки, прикрывшие глаза, и, взяв одну, положила себе на колено. Его пальцы сжали ее ладонь, и так они сидели, пока он не успокоился.

— Извините! Мне очень неловко, — пробормотал мужчина, доставая носовой платок.

— Не стоит. Никогда не извиняйтесь за слезы, пролитые по кому-либо! — Она почти прокричала эти слова, и он посмотрел на нее так, словно она произнесла какую-то невероятно мудрую максиму.

— Вам надо поесть. Я принесу поднос. Может быть, у вас есть особые пожелания?

Он покачал головой.

— Все равно что.

Она сбежала по лестнице вниз, вдруг осознав разницу между «быть нужной» и «быть обязанной». Придя на кухню, она приготовила сэндвич с ростбифом, обильно полив мясо острым соусом. Вспомнив симпатичный животик, выпиравший из-под рубашки, она поставила на поднос и бутылку пива, а также кувшин воды со льдом. Л. покосилась на еду, и Хид ответила на ее невысказанный вопрос:

— Это для брата утопленника.

— Я не переборщила с соусом? — поинтересовалась она, наблюдая, как мужчина кусает сэндвич.

Он помотал головой.

— Именно так мне и нравится. Как вы узнали?

Хид рассмеялась.

— Мистер Синклер, вы можете обращаться непосредственно ко мне, если вам что-то понадобится. Все что угодно.

— Зовите меня Нокс.

— А я — Хид, — и она подумала: если я сейчас же не выйду из номера, я поцелую его в животик!

Нокс Синклер оставался в отеле шесть дней — срок, необходимый, чтобы уладить все формальности для организации транспортировки тела в Индиану. И каждый последующий день был сказочнее предыдущего. Хид помогала ему с телефонными звонками, отправкой денег телеграфом, поездками в Харбор за свидетельством о смерти. Она окружила его заботой, как на ее месте сделал бы любой менеджер отеля, постоялец которого утонул во время купания.

Это был предлог. А поводом стала песня «Никому нет дела до того, чем я занимаюсь» в ис-

полнении Джимми Уизерспуна[58]. Ее желание исполнилось: у нее появилась возможность ласкать и гладить его животик ночами, пока ее муж развлекал клиентов, и утром, пока он отсыпался. Она просила Нокса рассказывать ей о брате, о своей жизни, только чтобы послушать его северный говор. Хид потрясло, что ею увлекся мужчина-ровесник, который считал ее интересной, умной, желанной. Так вот что значит быть счастливой!

«Навсегда!» — пообещали они друг другу. Он вернется через полтора месяца и заберет ее отсюда. В эти полтора месяца регулярные Папины «рыбалки» были для нее желанными, а его ночные бормотания казались ей жалкими. Она так тщательно все распланировала, что даже Л. ничего не заподозрила: новая одежда тайком укладывалась в два чемодана, деньги из кассы незаметно, но регулярно заимствовались.

Он так и не появился.

Она позвонила ему домой в Индиану. Подошла женщина. Хид повесила трубку. Потом позвонила снова и поговорила с ней.

— Это дом Синклера?

— Да! — Голос был приятный, добрый.

---

[58] Примечания: 58

Джимми Уизерспун (1920–1997) — американский блюзовый вокалист послевоенной эпохи.

— Я могу поговорить с мистером Синклером?

— Извините. Ему что-нибудь передать?

— Нет. До свидания. То есть спасибо.

Еще раз набрала его номер. Ответил тот же приятный добрый голос.

— Это миссис Синклер. Что вам угодно?

— Это миссис Коузи. Из отеля, где мистер Синклер… останавливался.

— А-а… какая-то проблема?

— Нет. Ммм… Вы его жена?

— Чья жена?

— Нокса. То есть Нокса Синклера.

— О нет, дорогая. Я его мать.

— Ах вот как! Вы передайте ему… пусть он мне позвонит. Миссис Коузи из…

Он не перезвонил, и Хид набирала еще семь раз, пока его мать не произнесла в сердцах:

— Я потеряла сына, дорогая. А он потерял брата. Пожалуйста, больше сюда не звоните!

Ее жестоко разбитое сердце утешилось быстро, когда она узнала — и это после пятнадцати лет настойчивых вопросов и слов сожаления, — что забеременела.

И как бы она ни сожалела, что Нокс «не здесь», она в любой день была готова променять отца на ребенка. Сияя в предвкушении материнства,

она была сама доброта и щедрость. Она ощущала себя особенной, а не чужой, значительной без необходимости это доказывать. И когда за первым пятнышком крови последовало сильное кровотечение, она не встревожилась, потому что ее груди продолжали наливаться, а аппетит был по-прежнему волчьим. Доктор Ральф заверял, что беременность протекает нормально. Ее прибавка в весе была заметной, как злоба Мэй, и постоянной, как Папина улыбка. У нее не было менструаций одиннадцать месяцев, и она могла бы прождать ребенка еще столько же, если бы Л. однажды не усадила ее на стул, не хлопнула — больно! — по щеке и, заглянув ей в глаза, не заявила:

— Проснись, дитя! Огонь в твоей печке так и не разгорелся!

После многих месяцев жизни во мраке, усугубленном насмешками у нее за спиной и охлаждением мужа, она наконец проснулась и, исхудавшая, как ведьма, оседлав помело, вылетела на дневной свет.

Мать заканчивает кормить и убаюкивает младенца на плече, как в колыбели. Покачивается вперед-назад, вперед-назад. Отдыхающие из группы религиозных активистов, обесцвеченные

бледным светом встающей луны, маленькими стайками покидают лужайку. Все сытые. Радостно прощаются.

Ее нерожденный младенец был мальчиком, в этом она не сомневалась, и если бы у нее тогда родился сын, ей бы не пришлось сейчас действовать тайком, просить молодую оторву отвезти ее в обветшалый отель, чтобы наконец обезопасить себя от всех посягательств.

Вынув ключ, Хид замечает разбитое стекло в дверной панели.

— Кто-то сюда вломился!

— Не исключено, — кивает Джуниор и отпирает дверь.

Хид следует за ней и ждет, пока она роется в пакете с принесенным инвентарем: лампочки, ножницы, ручка, фонарик. Еще по крайней мере час будет довольно светло, так что они без труда ориентируются внутри, поднимаются на третий этаж и находят цепочку, свисающую с чердачного люка. А на чердаке приходится включить фонарик, пока Джуниор ищет патрон лампочки под потолком.

Встав на ящик, девушка вкручивает лампочку и дергает за цепочку выключателя.

Хид озирается. Она в шоке. В чердачном поме-

щении, которое отпечаталось в ее памяти много десятилетий назад, царит полный разгром. Повсюду валяются коробки и ящики, раскрытые, смятые, перевернутые вверх дном. Драные матрасы с угрожающе оскалившимися пружинами, сломанные стулья, грабли, куски ковровых дорожек, кастрюли. Растерявшись, Хид крутится на одном месте, приговаривая:

— Говорю же тебе, сюда кто-то вломился. Меня хотели обворовать!

— Может, дети шалили? — делает предположение Джуниор.

— Откуда ты знаешь? Возможно, что-то пропало. Ты только посмотри на этот кавардак. Да тут придется всю ночь наводить порядок.

Хид таращит глаза на ржавый электрический вентилятор. Ее нервы напряжены.

— А что мы ищем? — тихо произносит Джуниор, пытаясь успокоить хозяйку, и думает: «Мы, наверное, распугали всех птиц. Ни одна не чирикнет».

— Ринзо, — коротко произносит Хид. — Большую старую коробку с надписью «Р-И-Н-З-О». Она где-то тут.

— Ясно, — говорит Джуниор, — давайте начнем искать.

— Я в этом бедламе не могу шагу ступить.

— Постойте здесь, — Джуниор сдвигает коробки, расчищая путь. Она разворачивает цветастую ковровую дорожку и кладет на потрескавшиеся вспучившиеся половицы, сдвигает коробку с мужской обувью. Паутина — не проблема.

Пока они ищут, Джуниор улавливает аромат свежей выпечки с корицей.

— Вы чувствуете запах?

Хид нюхает воздух.

— Пахнет гадской Л.

— Адской? Нет, в аду пахнет не так приятно, — возражает Джуниор.

Хид пропускает замечание мимо ушей.

— Вон там! Смотрите! — Джуниор тычет пальцем. — Прямо за вами. Над головой!

Хид оборачивается, смотрит.

— Но там написано не «Ринзо».

Джуниор смеется:

— Просто коробка перевернута!

Хид сконфужена.

— Я стала хуже видеть. — Вдруг Джуниор начала ее раздражать. Что это еще за взгляд? Она насмехается? Выражает неуважение? — Вот сюда поставь, — приказывает она, кивком указывая, куда Джуниор следует поставить коробку.

Наконец все расставлено: картонные коробки — для сидения, стул — для письма. Хид просматривает стопку меню. На большинстве проставлены только месяц и день, на некоторых — еще и год: 1964-й. Она уже собирается проинструктировать Джуниор, что писать в пустых промежутках между наименованиями блюд, как вдруг замечает в ее руке шариковую ручку.

— Это еще что? Я же сказала: самописку! Он бы такой не стал писать. Он никогда ничем не писал, кроме настоящих чернил. О господи, ты все испортишь! Я же тебе сказала! Разве нет?

Джуниор опускает глаза и думает: «Какого хрена ей надо, кем она себя возомнила, я ей тут помогаю что-то своровать, или сочинить, или сжульничать, а она мне еще выговаривает, как тюремная надзирательница». И отвечает:

— В 1964 году он мог писать такой ручкой.

— Нет, не мог. Ты сама не понимаешь, о чем говоришь!

— Ну, шариковая ручка — доказательство того, что документ написан относительно недавно, разве нет? Это же более поздний документ! — *Идиотка!*

— Ты думаешь?

— Ну, конечно! — *Безграмотная сука!*

— Может быть, ты и права. Ладно. Вот что напиши… — Хид закрывает глаза и диктует:

— Я оставляю все свои *материальные* ценности моей дорогой жене Хид-зе-Найт…

Джуниор поднимает на нее глаза, но ни слова не говорит. Теперь ясно, почему Добряк перестал ее любить — если вообще когда-то любил. *Материальные* ценности! *Он* слушает? *Он* смеется? *Он* здесь? Непонятно. Пахнет имбирными пряниками — нет, это точно не *он*.

— …которая была рядом со мной и хранила мне верность все эти годы. В случае ее смерти, если она не оставит личного завещания, все должно отойти к… — Хид делает паузу, улыбается. — Солитюд Джонсон.

Ага, щас! Джуниор торопливо пишет. Она навострилась идеально имитировать почерк своего Добряка.

— Это все? — спрашивает она.

— Шшшш!

— Что?

— Я что-то слышу, — Хид таращит глаза, прислушивается.

— А я нет.

— Это она!

— Кристин? Я ничего не слышу.

— Да ты и не можешь.

Хид встает, озирается, ища что-нибудь, чем можно воспользоваться для защиты. Ничего не находит.

— Не тревожьтесь! — успокаивает ее Джуниор. — Если она приблизится, я ей…

— Дура! Она тобой пол разотрет! — Хид выхватывает ручку из пальцев Джуниор и ждет. Обе слышат размеренные шаги: кто-то взбирается вверх по лесенке. Обе видят макушку, потом в снопе света появляется лицо. Безумный взгляд. Кристин забирается внутрь и замирает. Перевести дух? Собраться с мыслями? Джуниор совершенно спокойна.

— О, привет! — говорит она. — Как вы сюда попали? А мы тут ищем кое-какие материалы. Для ее книги, которую она пишет. Помните? Нам надо сверить даты, верно? Вот для чего и нужно исследование.

Если обе и слышат ее, то не подают вида. Кристин стоит не шевелясь, а Хид не выдерживает, осторожно делает шажок, другой, зажав шариковую ручку между ладонью и здоровым большим пальцем. Обе не спускают друг с друга глаз. Острые уколы вины, ярости, усталости, отчаяния сменяются ненавистью, до того чистой и высо-

кой, что это чувство кажется одухотворенным, чуть ли не священным.

Джуниор быстро переводит взгляд туда-сюда, как зритель теннисного матча. Она скорее ощущает, чем видит, куда Хид, не замечая ничего вокруг, кроме застывшей перед ней фигуры, направляется — шажок за шажком. Осторожно, прижав носком сапога конец ковровой дорожки, Джуниор резко тянет его на себя. Она не смотрит и не предупреждает. Вместо этого она улыбается Кристин, у которой кровь стучит в висках громче, чем треск половиц, — и вдруг Хид беззвучно, как в немом кино, падает вниз, и слабые скрюченные ладошки, тщетно пытающиеся на лету уцепиться за прогнившие доски чердачного пола, исчезают в потемках, как это происходит при затемнении кадра, и ощущение одиночества становится для Кристин настолько невыносимым, что она опускается на колени и вглядывается в лежащее внизу скорченное тело. Потом быстро спускается по лесенке вниз и вбегает в комнату под чердаком. Она опять встает на колени и обнимает Хид. Труха и пыль облаком парят в воздухе, обе вглядываются в лица друг друга. Священная ненависть все еще жива, как и ее незамутненность, но теперь она изменилась, побежденная

взаимной страстью. Старой, одряхлевшей, но по-прежнему острой. Струящийся с чердака свет угасает, и хотя обе слышат удаляющийся стук сапог в коридоре, а потом рев автомобильного мотора, они не удивлены — им все равно. Здесь, в спальне маленькой девочки, оживает упрямый скелет, клацает зубами, встряхивается…

Аромат свежей выпечки щекотал ей ноздри. Пахло корицей. И хотя Джуниор не догадывалась, что бы *он* мог сказать, она не сомневалась: *он* бы только рассмеялся, если бы она поведала *ему* о том, что натворила, и показала бы подделанное меню, которое, как надеялась *его* безмозглая жена, могло иметь законную силу, но Джуниор на всякий случай — а вдруг выгорит? — написала все по-своему. Уж прости, Солитюд! Она прибавила газу. Надежды, конечно, мало, ведь это произошло как-то внезапно, неподготовленно. Но все еще может обернуться так, как она и мечтала. Если одна из теток или обе вылезут оттуда живыми, она им скажет, что побежала за помощью. Но сначала надо вернуться на Монарх-стрит, найти *его*, поделиться с *ним* радостью и рассказать о своей хитроумной проделке. Она припарковала машину и бегом спустилась по лестнице вниз. Дверь в кухню была настежь распахнута, бол-

таясь под порывами морозного ветра. Кристин, наверное, все бросила и выскочила не просто второпях, а в истерике. И даже не выключила ни свет, ни духовку, и сморщенная баранья ножка почернела на противне, покрывшись коркой подгоревшего соуса. Джуниор повернула ручку на «Выкл.» и отправилась бродить по комнатам, раздраженная тем, что запах подгорелого мяса забил *его* парфюм.

Его нигде не было, даже в кабинете, поэтому она направилась прямо к *нему*. Хорошо. Вот *он*. Приветливо улыбается над кроватью Хид. Ее Добряк.

Выехав на Монарх-стрит, Ромен свернул на подъездную дорожку. Прислонив велик к двери гаража, он заметил клубившийся из «олдсмобиля» пар. Он дотронулся до капота: теплый. Когда Джуниор открыла дверь на его стук, она показалась ему необыкновенно красивой, насколько это возможно для обычного человека. Ее волосы были такие же, как и тогда, когда он впервые ее увидел: мягкие, роскошные, таящие в себе угрозу и соблазн. Ее глаза инопланетянки ярко сверкали, и на губах у нее играла улыбка номер тридцать один. Они обнялись и поцеловались, не сходя с места, а потом Джуниор повела его в

спальню на третьем этаже.

— Смотри, что у меня есть! — Нагая Джуниор сидела на кровати Хид под огромным портретом мужчины и размахивала листком бумаги. Ромен на него даже не взглянул.

— А где же миссис Коузи? Я и не знал, что она выходит из своей комнаты.

— Пошла навестить внучку, — рассмеялась Джуниор.

— Какую еще внучку?

— Которая живет в Харборе. Так она сказала.

— Не шутишь?

— Подойди. — Джуниор откинула покрывало. — Снимай одежду и забирайся ко мне.

— Она нас тут застукает!

— Ни за что! Иди!

Но Ромену не хотелось заниматься этим под портретом мужчины на стене, поэтому он увлек Джуниор в санузел, где они наполнили водой ванну — интересно, а каково это будет под водой? Оказалось — очень тесно. Не так возбуждающе, как он себе фантазировал, но лишь до тех пор, пока они не притворились, что топят друг друга. Они плескались водой и обзывались неприличными словами, а потом утомленные, точно два лосося, отметавших икру, отползли в разные сто-

роны, жадно ловя воздух губами. Он пристроился подальше от крана, она привалилась затылком к краешку ванны.

Ощущая себя властным и одновременно обессиленным, Ромен пошарил рукой по дну ванны и поднял над водой изуродованную ступню Джуниор. Она дернулась, пытаясь высвободиться из его рук, но он держал крепко и внимательно разглядывал сросшиеся пальцы. Потом, нагнув голову, коснулся их языком. Он почувствовал, что она перестала сопротивляться, и, взглянув на нее, с удивлением заметил, как помертвели вдруг ее глаза инопланетянки.

Потом, лежа под покрывалом на кровати Хид, он очнулся от недолгого сна и спросил:

— Нет, серьезно, где они?

— В отеле.

— Что они там забыли?

И Джуниор рассказала ему обо всем, что произошло на чердаке. Ее голос звучал как у диктора новостей по телевизору — мерно, равнодушно, временами с притворным волнением, когда речь заходила о малозначительном происшествии.

— И ты их бросила там?

— А что? — Похоже, она искренне удивилась его вопросу. — Перевернись! Дай-ка я полижу

тебе спинку.

— Видеть не могу этот портрет. Как будто мы трахаемся на глазах у твоего отца. — Ее слюна холодила ему позвоночник.

— Тогда потуши свет, сладкий мой!

9. Фантом

Хид боится взглянуть на свои ноги, вывернутые в идеальной четвертой позиции. Кристин прикрыла их лоскутным одеялом и ушла искать болеутоляющее. Где-то тут должно быть припрятанное Мэй добро: бутылка виски в сливном бачке, аспирин в каминном дымоходе. Хид надеется, что Кристин найдет виски, потому что воды нет, а ей хочется потерять сознание от алкоголя, а не от боли. Ее кости, хрупкие после десятилетий бездействия, растрескались как стекло. И ей кажется, что лодыжки — не единственное, что она повредила при падении. Какое-то странное онемение внизу живота, и еще она не может поднять правую ногу. Кристин усадила ее у стены, потому что на кровати нет матраса. Когда отель закрылся, она почему-то распродала все, что было можно.

Едва дыша, она упрямо сдерживает слезы, которые могут появиться, подобно воспоминаниям. Но незабудки, разбросанные на обоях, кажутся куда более живыми во мраке, чем когда-то при дневном свете, и она задумывается, что ее заста-

вило тогда полюбить этот узор. Чувство дома, наверное. «Когда я вошла в эту спальню, мне показалось, что я дома».

Знакомые шаги Кристин прерывают ее попытки вспомнить еще что-нибудь. Кристин нашла много нужных вещей: спички, коробку свечей, банку ананасового сока и несколько пакетиков порошков от головной боли. Она зажигает свечу и устанавливает ее в застывающем воске. Если получится открыть банку, Хид сможет запить соком порошок. Они обе молчат, пока Кристин с помощью молотка пытается забить гвоздь в консервную банку. Когда ей это удается, она раскрывает два пакетика и, высыпав горький порошок в рот Хид, дает ей сок. Она накидывает одеяло на плечи Хид, потому что ту начинает знобить.

Они обе приготовились к ссоре. «Кто виноват? Разве не ты это все начала, наняв воровку? А кто меня вынудил, побежав консультироваться с адвокатом?» И по чьей вине они теперь сидят в заброшенном здании, в семи милях от ближайшего дома, и теперь никто не знает, что они тут, а если бы и знали, то всем наплевать на обеих… Никто за них не помолится, да и они никогда не молились за себя. Но они воздерживаются от взаимных

упреков — что зря тратить силы, когда одна расшиблась, а другая вспотела, как мышь? Сюда, в эту спальню, где одиночество похоже на комнату умершего ребенка, не доносится ни рокот, ни запах океана. Здесь будущее рушится следом за прошлым. Ландшафт за окном бесцветен. Просто бледная каменная гряда, и никому недостает воображения придумать что-то иное, потому что вот так оно в жизни и случается — о чем, в глубине души, всякий догадывается. Нерожденный мир, где звук, любой звук — царапанье когтя или стук перепончатых лап — как дар свыше. И где человеческий голос — единственное чудо и единственная необходимость. И речь, когда она наконец-то прорезывается, обладает силой преступника, помилованного после двадцати одного года тюрьмы. Внезапная, неприукрашенная, низведенная до голой ясности речь.

— Знаешь, Мэй всегда была не больно-то хорошей матерью.

— Во всяком случае, она тебя не продала.

— Нет. Но она меня выкинула.

— В Мэйпл-Вэлли?

— В Мэйпл-Вэлли.

— А я думала, ты сама хотела.

— Черт побери, нет, конечно! Но даже если бы

и хотела, что с того? Мне было тринадцать. Она была моя мать. Она захотела отослать меня из дома, потому что он этого хотел, а она всегда все делала так, как хотел он. Ты была исключением. Она себя считала Папочкиной девочкой. Не тебя!

— Как будто я не знаю…

— Не сомневаюсь: она твою жизнь превратила в кошмар.

— И свою тоже. Я долгие годы была уверена, что она прячет вещи, только чтобы позлить меня. Я понятия не имела, что больше всего на свете она боится Хьюи Ньютона[59].

— Она считала, что «Пантеры» за ней охотятся?

— Не только они. И ей хотелось подготовиться загодя. На всякий случай.

— Ага! К настоящей революции, в которой двадцатилетние юнцы сражаются за то, чтобы завалить в койку шестидесятилетнюю тетку!

— Они могли бы сделать кое-что похуже.

— И сделали!

— Ты хоть одного встречала?

— Нет. К тому моменту я уже вышла из Движения.

---

[59] Примечания: 59

Хьюи Перси Ньютон (1942–1989) — американский правозащитник, один из основателей партии «Черные пантеры».

— А стоило туда входить?

— Нет вопросов!

— Я называла тебя дурой, но ты у меня вызывала зависть. Ты была так увлечена…

— Что было, то было.

— Ты говоришь об этом как-то печально.

— Нет. Это просто так. Похоже, все началось с того, что нас продали, потом мы получили свободу, а потом сами же продали себя — но дороже.

— Кого ты имеешь в виду, говоря «мы»? Черных? Женщин? Или нас с тобой?

— Сама не знаю кого.

Кристин дотрагивается до лодыжки Хид — той, что не распухла.

— Ууухххх…

— Прости!

— Наверное, и эта тоже сломана.

— Мы выберемся отсюда утром.

Кристин зажигает еще одну свечу, встает, идет к туалетному столику и выдвигает ящички один за другим. В верхнем находит цветные карандаши, холщовый мешочек, в среднем — россыпь мышиного помета и детские вещи: носочки, трусики, колготки. Она вытаскивает желтый топик и поднимает так, чтобы видела Хид.

— А это твой купальник!

— Неужели я была такая малюсенькая? А твой тоже там?

— Не вижу.

Кристин отирает пот с щек и шеи куском ткани и бросает его на пол. Она возвращается к Хид и с трудом усаживается рядом с ней. Пламя свечи освещает их руки, но не лица.

— Ты когда-нибудь продавалась за деньги?

— Ой, да перестань!

— Люди говорят.

— Люди врут. Я никогда не делала этого ради денег. Хотя… отдавалась взамен на что-то — это да.

— Как и я.

— Нет, ты — нет. Ты была слишком мала, чтобы решать.

— Не так уж мала, чтобы хотеть.

— Да? Он был к тебе добр, Хид? Я хочу сказать: по-настоящему добр?

Сначала. Несколько лет он был со мной добр. И учти: в одиннадцать лет я воспринимала коробку леденцов как проявление доброго отношения. Он отдраивал мне пятки, пока кожа на них не становилась нежной как шелк.

— Проклятье!

— А когда все вдруг испортилось, я надеялась, что вы с Мэй сможете мне объяснить, в чем дело.

Но и с этим не вышло, и я начала думать, что во всем виноваты финансовые неудачи — он же начал терять деньги. Но я никогда не винила лично его.

— А я всегда его винила!

— Ты могла себе это позволить. Шериф же не держал тебя на коротком поводке!

— Я помню его. Они рыбачили вместе.

— Рыбачили! Скажешь еще! Да он забыл то, что любой негритенок с плантации знает с рождения! Белые никогда не бросят тебе монетку, пока ты не станцуешь.

— Ты хочешь сказать, что Бадди Силк его разорил?

— Не он — его сын Босс. Папа водил, так сказать, дружбу с отцом, но сын оказался совсем другой породы. Он не просто его разорил, а сделал так, что Папа разорил себя сам.

— В каком смысле?

— Он давал Бадди как бы взаймы: сегодня немножко, а завтра — чуть побольше. И так он давал, давал… Пойми, он платил за то, чтобы отель не закрыли, чтобы продавать там спиртное. Трудно было, но терпимо. А как старый Силк умер, молодой сразу повысил сумму выплат. И мы не смогли оплачивать и музыкантов, и поли-

цейских, и алкоголь.

— Но как же вам удалось так долго продержаться?

— Повезло. Я нашла фотографии с тех рыбалок.

Хид выразительно посмотрела на Кристин.

— Нет!

— О да!

— Кто? Где?

— Какая теперь разница кто? А «где» — и в трюме, и на палубе, и у штурвала, везде где угодно. Им бы стоило призадуматься, какую рыбку можно поймать на удочку.

— У мужчин короткая память. Им всегда нужны картинки.

— Ха!

Хид вздохнула, представив Босса Силка. И себя — на яхте, перепуганную, дрожащую от холода в мокром свитерке. И не понимающую, что ему надо: то ли секса, то ли ее унижения, а может, просто денег, из-за которых он здесь, плюс по-быстрому ее полапать. Он, ясное дело, хотел сделать с ней что-то постыдное, но она не знала, входят ли в список ее сиськи. Во всяком случае, один раз ее уже продали, и с нее хватит. «Вот тут кое-что, что он хочет вам отдать». Она протянула ему коричневый конверт в надежде, что он решит,

будто там деньги. Потом отвернулась, дав ему возможность раскрыть конверт не у нее на глазах и сделав вид, что не влезает в их мужские дела. До ее ушей донеслось шуршание, когда он достал содержимое конверта, и она добавила: «Кстати, тут где-то есть еще такой же конверт. Но он адресован вашей матери с доставкой через редакцию «Харбор джорнэл». Если я его смогу найти, мне передать прямо ей или отправить в газету? Хотите, я принесу вам чаю со льдом, сэр?»

Хид пересказывает эту историю, подражая говору старой негритянки, выпучив глаза на такой же манер. Обе хихикают.

— Он правда так сделал? Подготовил отдельную подборку фотографий для старой миссис Силк?

— Это я придумала.

— Приветик, Красотка!

— Ой, подруга, с каких пор у нас появилась привычка так приговаривать?

Когда однажды они играли на пляже — им тогда было лет по десять, — они услыхали, как какой-то мужчина кричит молодой женщине в красном платье с открытой спиной: «Приветик, Красотка!» В его голосе слышались веселые нотки, намек на то, что он знает о ней нечто тайное, и вместе с тем немного ей завидует. Женщина стоя-

ла, запрокинув голову к небу, и не обернулась на возглас. Ее профиль казался выточенным на фоне морского пейзажа. Но она повернулась к ним. Ее лицо от щеки до уха прорезал шрам. Тонкий, как карандашная линия на лице, которое взмахом ластика можно было бы превратить в безупречное. Ее взгляд, впившийся в двух девчушек, был холодным, пугающим, но лишь до тех пор, пока она им не подмигнула, и у них от внезапной радости не свело пальчики на ногах. Потом они спросили у Мэй, кто она такая, эта Красотка. «Держитесь от нее как можно дальше! — строго заявила Мэй. — Увидите ее на улице — сразу переходите на другую сторону!» Они спросили почему, а Мэй ответила: «Потому что от уличной женщины можно ожидать всего!»

Заинтригованные, они попытались себе вообразить вещи, которые Красотка может сделать не задумываясь, невзирая ни на какую опасность. Они даже назвали свой кукольный домик в ее честь — Дворец Красотки. И с тех пор, вместо того чтобы произносить «Аминь» или в знак признания какого-то смелого, умного или рискованного поступка, они, имитируя мужской голос, восклицали: «Приветик, Красотка!»

Помимо слов, изобретенных для своего тайного

языка — они называли его «айдагей», — это «Приветик, Красотка!» стало их самым секретным паролем. На «айдагей» они обменивались личными откровениями, сплетнями и шуточками про взрослых. И лишь однажды его использовали, чтобы нанести смертельную обиду подруге.

— Ыт-айдагей яныбар-айдагей! Но-айдагей липук-айдагей бяет-айдагей аз-айдагей йындал-айдагей окош-айдагей кич-айдагей нотаб-айдагей![60]

— Яныбар-айдагей. Это обидно, Кристин. Назвать меня рабыней. Очень обидно.

— Это я специально. Я ведь думала, что умру без тебя.

— Бедные мы, бедные!

— А что у него было на уме? Чего он хотел?

— Понятия не имею.

— Когда он сдох, я воскликнула: Ура! Ну, наконец! И потом связалась с таким же, как он, старым эгоистичным бабником.

— Ты могла бы остаться тут, если уж так дорожила этим домом. У него было так много женщин, что я сбилась со счета.

---

[60] Примечания: 60

На «секретном» языке девочек слова произносятся в обратном порядке с добавлением в конце «айдагей», что в данном случае означает: «Ты рабыня, он купил тебя за шоколадный батончик».

— Тебе это было неприятно?

— Конечно.

— А Л. знала, что происходило у него на яхте?

— Вероятно.

— Я давно хотела у тебя спросить. Как она умерла?

— А ты как думаешь? Прямо на кухне.

— Жарила цыплят?

— Не угадала! Тушила свинину!

— Где?

— У Масео. Упала замертво у плиты.

— Она так и не вернулась после похорон?

— Не-а. Я думала, ты приедешь на ее похороны. Мэй тебе не писала?

— Писала, но я тогда жила в обалденной квартирке, и у меня голова шла кругом, спасибо одному гаду.

— Тому доктору?

— Кенни Рио.

— Получил тебя взамен?

— Нет, купил. Как бутылку виски. И знаешь, наступает момент, когда покупать приходится все больше и больше. Я продержалась три года. Мисс «Катти Сарк».

— Ты всегда была ничейной бутылкой виски.

— Как и ты.

— А потом что?

— Как маленькая девочка, все пыталась найти себе место, куда бы не вела ни одна улица.

— Л. так любила говорить.

— Боже ты мой, как же я по ней скучаю!

— Я тоже. Всегда скучала.

— А ведь мы могли бы всю жизнь жить, держась за руки, а не ища повсюду своего Большого Папика.

— А он и был повсюду. И нигде.

— Мы что же, его придумали?

— Он сам себя придумал.

— А мы помогли.

— Угу. Только дьявол мог такого придумать.

— Кто-то же придумал.

— Приветик, Красотка!

Даже на «айдагей» они никогда не могли поделиться друг с другом чувством двойного стыда. Каждая считала ущербной только себя. А теперь, сидя на полу, презрев предательство тела, когда им обеим было что — или нечего? — терять, эти два слова снова перенесли их в прошлое. В то время, когда райской невинности не существовало, потому что никто еще не выдумал ада.

1940 год, они вдвоем идут играть на пляж. Л. собрала для них корзинку с едой, которую они,

как обычно, уплетут, сидя в тени и уединении Дворца Красотки — перевернутой рыбачьей лодки, давно позабытой на прибрежной траве. Они выгребли из-под нее мусор, обустроили внутри и придумали название. Там у них лежит одеяло, выброшенный прибоем столик, два сломанных блюдца и неприкосновенный запас провианта: консервированные персики, сардины, банка яблочного желе, арахисовое масло, крекеры. Обе в купальничках. На Хид — один из запасных Кристин, синий с белой оторочкой. А на Кристин — раздельный желтого цвета, с широким топиком, закрывающим грудь и верх живота. Им обеим заплели по четыре косички, чтобы и прически у них были одинаковые. Но у Кристин косички расплетаются, а у Хид нет. Они идут через лужайку перед отелем, и тут одна из них вспоминает, что они забыли взять мешочек со «звездочками». Хид вызывается сбегать за ними, пока Кристин ждет ее в беседке и сторожит корзинку с едой.

Хид вбегает в служебный вход и поднимается по задней лестнице, с восторгом предвкушая предстоящий пикник на пляже и наслаждаясь вкусом своей жвачки. Снизу из бара доносится музыка — приятная и ритмичная, так что у Хид,

когда она бежит по коридору, бедра сами собой виляют в такт мелодии. На бегу она натыкается на дедушку своей подружки. Он смотрит на нее. Она смущена — а вдруг он заметил, как она виляла бедрами? — и восхищена одновременно. Это красивый великан, кому принадлежит этот отель и с кем никто на смеет пререкаться. Хид останавливается как вкопанная и произносит: «Простите, пожалуйста, извините!»

Он говорит:

— Где-то пожар?

Она не отвечает. Ее язык пытается отлепить жвачку от зубов.

Он снова задает вопрос:

— Ты дочка Джонсона?

Упоминание об отце помогает — у нее развязывается язык.

— Да, сэр.

Он кивает.

— Как тебя зовут?

— Хид, сэр. — И уточняет: — Хид-зе-Найт[61].

Он улыбается.

— Обязательно.

— Что, сэр?

---

[61] Примечания: 61

Все имена детей в семье Джонсонов «говорящие». Буквально имя Хид-зе-Найт означает: «Имейте в виду, что сейчас ночь» (*англ.*).

— Ничего. Не важно.

Он трогает ее за подбородок, потом — словно невзначай, с улыбкой — за сосочек. Вернее, точку у нее под купальником, где должен быть сосок, если это место на ее груди когда-нибудь округлится. Хид стоит так, кажется, целый час, но гораздо меньше, чем требуется, чтобы выдуть из жвачки огромный пузырь. Он наблюдает, как у нее изо рта вылезает розовая масса, и потом уходит, все еще улыбаясь. Хид пулей мчится обратно по лестнице вниз. Точка у нее на груди, о которой она и не подозревала, горит и покалывает. Добежав до двери, она так тяжело дышит, точно ей пришлось перемахнуть через весь пляж, а не преодолеть лестничный пролет. Сзади ее хватает Мэй и ругает за беготню по отелю. Потом приказывает помочь ей перенести мешки с грязным постельным бельем в прачечную. Это занимает минуту или две, но у Мэй Коузи есть что сказать девочке насчет ее поведения в общественном месте. Когда она заканчивает свою лекцию о том, как все рады, что Хид дружит с Кристин, и какую пользу эта дружба может ей принести, она со всех ног бежит рассказать подружке обо всем, что произошло и что сделал ее дедушка. Но Кристин уже нет в беседке. Хид находит ее позади отеля

у дождевой бочки. У Кристин чем-то заляпан купальник — похоже на рвоту. У нее сердитое осунувшееся лицо. Она выглядит как больная, с выражением отвращения на лице, и старается не смотреть в глаза Хид. А Хид не может вымолвить ни слова, не может объяснить, почему так задержалась. Она понимает, что все испортила. Молча они бредут на свой пикник. И хотя подружки снова ведут себя как обычно — обмениваются выдуманными именами, раскладывают еду на скатерке, — сыграть в «звездочки» им не удается. Потому что Хид их так и не принесла. Она соврала Кристин, что не нашла их. И эта первая ложь — первая из многих последовавших потом — породила у Хид опасение, что Кристин знает о происшествии в коридоре — от этого ее и вырвало. Значит, внутри Хид сидит какой-то изъян. И старик это сразу прознал: ему надо было просто дотронуться до нее, чтобы этот изъян проявился, о чем он заранее догадался, потому что изъян всегда сидел в ней, дожидаясь, когда мужской палец вызовет его к жизни. Но это ведь она его оживила — не старик! Сначала она завиляла бедрами, а уж потом появился он. И теперь Кристин знает про ее тайный изъян и не может на нее смотреть, потому что этот изъян так и прет наружу!

Она не знает, что Кристин тогда ушла из беседки, чтобы встретить Хид у служебного входа. Но там никого не нашла. Кристин смотрит на окно своей спальни, где подруга должна искать «звездочки». Окно раскрыто, ветер треплет бледные занавески, выталкивая их наружу. Она открывает рот, чтобы крикнуть: «Хид! Давай же скорей!» Но не кричит, потому что видит дедушку в окне спальни, в расстегнутых брюках, и его рука дергается с такой же скоростью, с какой Л. взбивает яичные белки в пушистую сливочную пену. Он не замечает Кристин, потому что у него закрыты глаза. Кристин прикрывает смеющийся рот ладошкой, но отдергивает ее, когда на руку извергается весь съеденный завтрак. Она мчится к дождевой бочке, чтобы смыть вонючие потеки с желтого купальника, с рук, голых ног.

Когда Хид отыскивает ее там, Кристин не объясняет, что случилось с ее купальником, почему она его оттирает и почему отводит глаза от Хид. Ей стыдно за дедушку и за себя. Когда она тем вечером легла в кровать, его тень уже навсегда поселилась в ее комнате. Ей не надо было смотреть на окно или видеть, как занавески трепещут под порывами ветра, она и так знала, что в ее комнате старик находил прибежище для своих

одиноких наслаждений. Точно гость отеля, заранее сделавший бронь, наконец заселился в свой номер — и тебе известно, что он останется тут надолго.

Но дело было не в возбуждении — не таком уж и неприятном, о чем девочкам вполне можно и посекретничать. Совсем в другом. В том, что заставило каждую убедить себя (кто бы знал почему?), что ее стыд совершенно особого рода, и о нем невозможно рассказать словами — даже на языке, сочиненном ими для своих секретов.

А вдруг тайная грязь просочится наружу?

И даже теперь, выбившиеся из сил, возможно, оказавшись на грани вечного сна, они не говорят о рождении греха.

«Айдагей» им тут не поможет.

Хид нужно еще немного болеутоляющего. Она закашлялась, глотая порошок. Этот раздирающий кашель уймется не скоро.

— Где болит?

— Везде.

— Скоро рассвет.

— А потом что?

— Я отнесу тебя.

— Ну как же!

— Эй, смотри, что я нашла!

Кристин поднимает мешочек и вытряхивает из него на пол пять «звездочек» и резиновый мячик. Она подбирает пластмассовые «звездочки» и зажимает их между растопыренных пальцев. Слишком мало для игры[62]. Тогда она снимает десять колец, чтобы «звездочек» был полный набор. «Звездочки», смешавшись с бриллиантовыми кольцами, сверкают в пламени свечи. Хид не может бросить мячик, но ее скрюченные пальцы идеально подходят для того, чтобы сгрести «звездочки» с пола.

— Я тебя ненавидела — и это единственное, что во мне тогда нравилось моей матери.

— Я слыхала, он дал моему папаше двести долларов и кошелек для мамы.

— Но ты же сама хотела, разве нет? Ты разве не хотела?

Кристин быстро подбирает четыре «звездочки» и стонет. Боль простреливает руку от плеча до локтя и ниже.

— Я ведь хотела остаться с тобой. И надеялась, что так оно и случится, если я выйду за него замуж.

— А я хотела поехать с вами на медовый ме-

---

[62] Примечания: 62

Число гнезд в «джексе» зависит от вида игры и может меняться от пяти до пятнадцати.

сяц.

— Жалко, что не поехала!

— Как был секс?

— Тогда казалось, что все здорово. Не могу сказать. Не с чем сравнивать.

— Никогда?

— Один раз было.

— Приветик, Красотка!

— Но наши пикники были лучше. Помнишь?

— А то! В корзинке лежали шоколадные батончики «Бейби-Рут».

— И домашний лимонад.

— Без косточек. Л. выуживала ложкой все лимонные косточки.

— Там была колбаса или ветчина?

— Ветчина, моя милая. Я терпеть не могу колбасу.

— Что, шел дождь? Кажется, я помню дождь.

— Светлячки. Вот что помню я.

— Тебе хотелось засунуть их в бутылку.

— Ты бы мне не позволила.

— Мы жутко боялись черепах.

— Ты плачешь…

— И ты…

— Разве?

— Угу.

— Я тебя почти не слышу.

— Возьми меня за руку.

— Он лишил меня детства, милая!

— А меня он лишил тебя!

— Небо помнишь? После заката?

— Песок. Он становился бледно-голубым.

— И звезды. Сначала несколько.

— А потом так много, что они освещали весь этот проклятый мир.

— Красиво. Как же красиво!

— Люблю. Правда люблю!

— Охит-айдагей. Охит-айдагей.

Неосвещенным закоулкам без уличных фонарей и кричащих неоновых вывесок кромешная тьма ночи часто приносит облегчение. Как освобождение от бремени постоянно быть начеку, постоянно таиться. Воришкам ночь нужна для того, чтобы красться незаметно, но им от ночи никакой нет радости. Матери ждут прихода ночи, чтобы отоспаться, но и во сне они не знают покоя. Главный подарок ночи — спасение от надзора и надзирателей. Стать как звезды, что вольны жить своей жизнью, забыв друг о друге. Или как бриллианты вне узилища оправы, обретшие волю быть просто красивыми камнями.

Никто не отвечает на его оклик: «Здесь есть

кто-нибудь?» Ведомый тусклым лучом фонарика, Ромен пересекает вестибюль и поднимается по лестнице. Скоро рассветет, но пока все окутано тьмой. Он слышит легкое похрапывание — из-за приоткрытой двери слева. Толчком ладони он открывает ее пошире и направляет луч на двух женщин. Подходит ближе. Обе вроде спят, но дышит только одна. Та, что не дышит, лежит на спине, левая рука на пояснице. Другая положила правую руку умершей себе на шею и похрапывает, уткнувшись ей в плечо. Когда он освещает лицо спящей, она вздрагивает, устремляет на него взгляд и бормочет: «Ты опоздал» — так, будто у них была назначена встреча. Будто он угнал машину не по благому порыву души, а по ее поручению. Будто все, что рассказала ему Джуниор, — вздор.

Он спал и, проснувшись, подумал: неплохо бы чего-нибудь перекусить. Вот тогда-то она ему все и выложила.

— И ты их бросила там?

— А что такого? Выключи свет, мой сладкий.

Ромен потянулся к лампе, но, к своему удивлению, нашарил ключи от машины. Он вскочил и быстро оделся. Он не разобрал, что Джуниор кричала ему вслед. Помчался со всех ног — вниз

по лестнице, из двери на улицу, а следом за ним летел старческий шепот: «Ромен, ты ничего не сможешь сделать! Даже не думай!» Дурак! Болван! Старик пытался предупредить его, заставить выслушать себя, убедить в том, что прежний Ромен, плаксивый слабак, который не мог не развязать шнурки на запястьях той строптивой девчонки, покруче того, другого, который грубо швырнул к стенке чердака податливую девчонку… Он вырулил с аллеи на дорогу и газанул. Помедленнее, подумал он. Помедленнее. На этой дороге не было обочины. С обеих сторон тянулись, призывно раскрыв пасти, кюветы. Одна из фар замигала и погасла.

Джуниор сидела, обхватив колени. Раскачиваясь вперед-назад, она вспоминала, как Ромен вытащил из воды ее изуродованную ступню и лизнул языком, словно леденец на палочке. И когда они вылезли из ванны, мокрые и чистые, как два елдака, — тогда вот она и ощутила это чувство парения. Словно соскользнула в глубокий колодец, отчего у нее закружилась голова, но одновременно тело наполнилось приятной легкостью. И надежная защищенность, которую она ощутила в первую ночь в этом доме, сменилась нервно мерцающим ярким светом — приятным

и в то же время пугающим. Лежа на спине, она закрыла глаза, чтобы до конца погрузиться в это странное чувство. Наконец она повернулась и посмотрела на лицо Ромена. После объятий он крепко спал, чуть разжав губы и неслышно дыша, не шевелясь. Этим красивым мальчиком она лакомилась так, словно он был вкуснейшим угощением на вечеринке по случаю ее дня рождения, которую никогда и никто для нее не устраивал. Мерцание усилилось, и вдруг она поняла, что это. Ее охватило никогда ранее не испытываемое, совершенно незнакомое, абсолютно неведомое состояние, заставившее ее почувствовать себя полностью раскрывшейся и целокупной, словно это прикосновение языка к леденцу одобрило и утвердило ее существование. Вот почему, когда он во второй раз задал вопрос, она выложила ему всю правду. Понятное дело, только факты. Она была удивлена его реакцией: «И ты их бросила там?» — как и его внезапным бегством. Потянувшись к выключателю лампы, он схватил ключи от машины и мигом оделся — будто пожарник по тревоге. Он крикнула ему: «Ромен!», потом «Что такое?» Он не ответил. Он убежал.

Джуниор встала с кровати и пошла бродить по дому. Ей не хотелось ни видеть Добряка, ни

унюхивать *его* лосьон. *Его* уже не было несколько дней, *он* не появился на чердаке в отеле, не вернулся в свой кабинет. Глядя в упор на портрет, она чуть не поведала *ему* про свою проделку с меню, отогнав подозрение в том, что *он* ее предал, а когда Ромен вернулся, то все мысли о Добряке вылетели у нее из головы. Леденец уже был облизан, и Добряк навсегда исчез с портрета, оставив ее, с легким головокружением, одну — с Роменом. А тот убежал. Прочь от нее. Со всех ног.

В полном недоумении она походила по комнатам и наконец забрела на кухню. Открыла духовку и, присев на корточки, начала отковыривать с почерневшей бараньей ножки куски корочки и жадно запихивать себе в рот. Но мерцающий яркий свет, ослепивший ее всего час назад, не померк. Не в тот момент.

Ромену пришлось нести обеих вниз по лестнице. Сначала одну, потом другую. Уложив покойницу на широком заднем сиденье, он помог другой женщине примоститься спереди.

— Она ушла?

— Нет, мэм. Она в доме.

Кристин не позволила Ромену везти ее в больницу и настояла, чтобы он вернулся на Монарх-стрит. Когда они добрались до места, уже

рассвело. Окна окрашены персиковой глазурью, дом вдыхает влажный воздух, на облупившихся стенах выступила испарина. Ромен относит Кристин вниз, в кухню. Он не успевает усадить ее на стул, как вбегает Джуниор — глаза округлившиеся, настороженные.

— О, я так рада! Хотела позвать на помощь, но никого не нашла. А потом пришел Ромен, и я сразу послала его за вами. Вы в порядке?

— Жива.

— Я сварю кофе, ладно? А где?..

— Зайди-ка туда и закрой за собой дверь, — сгорбившись, держась за Ромена одной рукой, а другой вцепившись в спинку стула, она кивает головой в сторону прежней комнаты Л.

Джуниор глядит на Ромена. Он — на нее, ожидая встретить мольбу в ее взгляде. Но мольбы нет, только испуганное недоумение. Не страх и не вопрос. Ромен смотрит не мигая и, пока она пятится к двери, наблюдает, как испуганное недоумение превращается в холодное обдумывание, а потом — в хмурое осознание. Глаза смотрят в пол. От ее самоуверенности не остается и следа.

— Иди-иди!

Не поднимая глаз, Джуниор поворачивается, заходит в комнату и захлопывает дверь.

— Запри ее! — велит Кристин. — Ключ в ящике для хлеба.

Ромен помогает ей сесть на стул, потом запирает дверь и отдает ключ.

— Надо отвезти тело в морг. Найди телефон и вызови «Скорую». И поторопись.

Ромен собирается уходить.

— Постой! Спасибо тебе, Ромен! От всей души: спасибо!

— Да, мэм, — отвечает он и идет к двери.

— Погоди, — снова говорит она. — Захвати одеяло, вдруг она замерзнет…

Оставшись в одиночестве, Кристин ведет разговор со своей лучшей подругой, которую сейчас повезут в морг.

«Что нам с ней сделать?

Пулю всадить — самое оно!

Ты как?

Так себе. А ты?

Как в тумане.

Пройдет.

Уверена, она обмозговывает, как ей оттуда выбраться до приезда «Скорой».

Нет, это вряд ли. Уж ты мне поверь.

Ха, через минуту начнет орать. Думаешь, ей стыдно?

Да уж наверное».

Возвращается Ромен с одеялом.

— Я мигом назад. Не беспокойтесь, — говорит он, отворяя дверь на улицу.

— Не задерживайся! — Она поглаживает ключ большим пальцем.

«Может, нам выпустить эту бездомную дрянь?

Ее можно бы и оставить, но на определенных условиях.

Да какая разница!

Мне? Никакой. Она тебе тут нужна?

Зачем? У меня есть ты.

От нее одни неприятности.

От нас тоже.

Приветик, Красотка!»

Ромен гонит машину по Монарх-стрит, стараясь не потревожить свою пассажирку. Он спокоен, сосредоточен, а ведь когда он подошел к машине и оглянулся на дом, то заметил плывущие над его крышей грозные тучи, чьи большеголовые профили отбрасывали густые тени на все окна, кроме одного, которое, словно глаз определившейся с выбором кокетки, сияло персиковым блеском.

Я вижу тебя. Тебя и твою невидимую подружку, с которой вы неразлучны на пляже. Вы обе сидите на красном одеяле, едите мороженое, скажем,

серебряной кофейной ложкой, скажем, когда появляется реальная девочка, шлепая ногами по волнам прибоя. Я вижу и тебя, как ты идешь по берегу в мужской майке, а не в платье и слушаешь подружку, которую никто не видит, кроме тебя. Внимательно прислушиваясь к словам, которые не слышит никто, кроме тебя, как вдруг реальный голос говорит: «Привет! Хочешь мороженого?» И теперь ненужные, все твои тайные подруги исчезают ради подруги во плоти. Это вроде того, как дети вдруг влюбляются друг в дружку — сразу, без лишних слов. Взрослые не обращают на это внимания, потому что даже представить себе не могут нечто более важное для ребенка, чем его собственное «я», и путают зависимость с почитанием. Родители могут быть мягкими или строгими, робкими или самоуверенными, это не важно. Щедры ли они на подарки и, испугавшись детских слез, отвечают «да» на каждый детский каприз, или они изо дня в день, не жалея сил, стараются, чтобы их ребенок рос воспитанным, и наказывают его за любую провинность, — словом, какими бы они ни были, им суждено всегда быть на втором месте после первой любви их ребенка. Если дети вот так находят друг друга еще до того, как они

познают свою сексуальность или узнают, кто из них живет впроголодь, а кто ест вдоволь, и прежде чем они научатся отличать цветных от нецветных, родных от незнакомых, вот тогда они и обнаруживают в себе ту смесь покорности и бунтарства, без чего потом не могут жить. Именно это и обнаружили в себе Хид и Кристин.

Большинству людей неведома страсть настолько сильная, настолько ранняя. Но если такая страсть их посетила, они о ней потом вспоминают с улыбкой и отмахиваются от нее, как от юношеской влюбленности, которая со временем — и вовремя — остывает. Да и трудно думать о ней как-то иначе, когда начинается настоящая жизнь и предлагает тебе список других людей и рой других мыслей. И если имя тебе дала тема тринадцатой главы Первого послания к Коринфянам[63]*, то естественно сделать ее своим призванием. Никогда не знаешь, кого или когда она поразит и надолго ли хватит ее силы. Одно правда — она позволяет за собой наблюдать, если ты можешь позволить себе на нее смотреть. Хид*

---

[63] Примечания: 63

Тема этой главы Послания апостола Павла — любовь. «…И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится…»

и Кристин были из тех детей, которые не могут забрать свою любовь назад или поставить ее на прикол. Когда такое случается — расставание ранит глубоко, до самой кости. А коли их разрыв произошел насильно, да еще в результате кражи, да еще с кровью, пролитой ребенком ради его же блага, тогда это может исковеркать душу. И если, ко всему прочему, их вынудили ненавидеть друг друга — такой разрыв способен убить жизнь еще до того, как эта жизнь начнет расцветать. Я обвиняю Мэй за ненависть, которую она в них зародила, но я вынуждена и возложить вину на мистера Коузи за кражу.

Интересно, как бы он отнесся к юной Джуниор? Он был, знаете ли, падок на бедствующих и бесшабашных женщин. Но это теперь — не тогда. Я даже представить не могу, на что способна нынешняя порода таких вот юных женщин. Стыд и срам. Возможно, окажись она в заботливых руках, под постоянным приглядом, — этого было бы довольно, если только не слишком поздно, и их сон — не более чем ожидание в засаде, медленно тлеющая горка пепла в матрасе. Этот пожар не потушить никаким сахаром в мире. Мистеру Коузи это лучше знать. Его можно назвать Плохим Добряком или Добрым Плохишом. В за-

висимости от того, что для вас важно — «что» или «почему». Для меня нет никакой разницы. Когда я вижу, как он с выражением праведника наказывает Хид, а тем временем его потухшие глаза косятся на Кристин, мне кажется, что Дурак-таки победил. Потом я слышу его смех и вспоминаю, с какой нежностью он держал на руках Джулию и катал ее по волнам, его щедрый кошелек, его пальцы, ерошащие волосы сына… Мне плевать, что вы думаете. Он не был отмечен печатью ни добродетели, ни зла. Это был самый обычный человек, с душой, раздираемой, как и у всех нас, гневом и любовью.

Мне пришлось его остановить. Пришлось.

А уж как они сражались друг с другом из-за моего меню! Все вчитывались в него, пытаясь разглядеть там приметы его последней воли — и все ошибались. Хид всегда с трудом могла разобрать написанное от руки, но ей бы в 1971 году следовало догадаться, что «милая малютка Коузи», кому ее муж хотел в 1958 году завещать свою недвижимость, — это не она и не Кристин, а младенец, который был тогда на подходе. Они так и не поняли очевидного — и это засвидетельствовано мной и нотариально заверено женой Бадди Силка, — что он все хотел оставить Кра-

сотке! Всё. Абсолютно всё. Кроме одной из яхт, которую он завещал Сэндлеру Гиббонсу. И это неправильно. Если бы мне позволили прочитать то, что я подписала в 1964 году, когда шериф пригрозил прикрыть курорт, когда сопливые юнцы осыпали его оскорблениями и целые кварталы были охвачены пожарами, мне, возможно, удалось бы его тогда остановить — очень аккуратно — и не позволить отдать все, что мы создали своим трудом, той, которая это все разбазарила бы и никогда бы не стала жить там или рядом и которая готова была скорее взорвать этот отель, чем смотреть, как он стоит вечным напоминанием о том, что ее туда не допускали, — и это при том, что она-то и была главным уловом всех его рыбалок. Что бы там ему ни нашептало его сердце, это неправильно. Если бы я ту бумагу прочитала в 1964 году, а не в 1971-м, я бы поняла: последние семь лет своей жизни он не предавался самобичеванию и раскаянию, как всем казалось, а вынашивал свою месть, и его ненависть к женщинам, живущим в его доме, не знала границ. Поначалу они его разочаровали, потом вызвали отвращение, а под конец превратили его дом в бочку со змеями, а дело всей его жизни — в назидательный урок по истории чер-

ных. Он так и не понял: мечта — это всего лишь напомаженный кошмар. И даже если он и считал себя вправе, я не могла позволить ему выгнать своих родных на улицу. Мэй было за шестьдесят, и что бы ее ожидало? Провести остаток жизни в смирительной рубашке? Хид было хорошо за сорок. А ей что прикажете делать? Вернуться к родичам, с которыми она не виделась со времен президента Трумэна? А Кристин — какими бы глупостями она тогда ни увлекалась, надолго бы ее не хватило. И я нашла единственное решение. Настойка наперстянки, если знать, как ее приготовить, действует быстро и безболезненно. Он и так был слаб умом, и в восемьдесят один лучше бы соображать не стал. Нужно было решиться… И задолго до того, как в нашу дверь постучался гробовщик, я разодрала в клочки ту зловредную бумаженцию. А мое меню сработало на ура. Дало им повод держаться вместе, а может, и оценить по достоинству мудрость языка. Если язык использовать с умом, он избавит вас от зорких Полицеглавов, что охотятся за беспутными женщинами и невоспитанными детьми-оболтусами. Этому трудно научиться, но я знаю, по крайней мере, одну женщину, которая смогла. Над ней нависли их широкополые шляпы, и вода стекала

с их косматых бород, а она распугала всех, лишь произнеся одно слово — или это была песня?

Ее шрам пропал. Я иногда сижу рядом с ней на кладбище. Кроме нас двоих его никто не навещает. Она оскорблена словами, высеченными на его могильном камне, и восседает на нем, скрестив ноги, так что складки ее красного платья скрывают оскорбительную надпись: «Идеальный муж, образцовый отец». В остальном же она вроде довольна. Мне нравится, когда она ему поет. Одну из тех незамысловатых сальных песенок, под которую люди на танцплощадке забывали о приличиях. «Вернись, малышка! Теперь мне все ясно. Вернись, малышка, все будет прекрасно...» То ли она про меня ничего не знает, то ли уже простила за то, что я сделала. Потому что не возражает, если я сажусь чуть поодаль и слушаю, как она поет. Но иногда ее песню переполняет такая тоска по нему, что мне становится не по себе. Мне хочется вернуть кое-что из прошлого. Кое-что только для себя. И я присоединяюсь к ней. И мурлычу себе под нос.